

## **Ирина Николаевна Дударева** **Воспоминания**

Переполненная девяносто вторая камера Ростовской тюрьмы стала затихать. Большинство уже устроилось на ночь, тщательно разместив свою постель на положенных каждому полутора досках деревянного пола и улегшись боком вплотную к своему соседу. Кое-где еще тихо переговаривались. Одна томящаяся душа искала уединения – сидела на железной крышке параша, высоко подняв голые колени к лицу и обхватив их тощими руками. Лицо было спокойно, но глаза явно не видели ни голых обшарпанных стен, ни стиснутых тел, занимавших весь пол камеры вплоть до самой параша. Эта погруженная в думу фигура трагикомична: это была немолодая женщина, почти голая, только в вылинявших трусиках, ее изможденное тело, обвисшая высохшая грудь были бы трагичны, если бы не торчащие в разные стороны короткие, почти седые косички, завязанные пестрыми тряпочками. (Такие косички были на головах у многих, так как отравившие волосы нечасто можно было расчесать, имея на 80 человек в камере 2–3 расчески.)

Это была жена заведующего Ростовским крайздравотделом, безобидная, ничем не примечательная женщина, все мысли которой, как мы знали, были о детях, о доме, о муже. И вот эта немолодая мать и хозяйка сидела в немыслимом виде на тюремной параша в позе не то шаловливой девочки, не то мыслителя. И что ее ждет?

Нина Дубасова прошептала мне: «Поверит ли кто-нибудь, если ему описать эту картину? И ведь никогда этого никто не узнает, никогда нельзя будет об этом рассказать».

– Лет через 50, я думаю, можно будет.

Нина только фыркнула.

Оказывается, стало можно раньше, чем через 50 лет. Все мы, конечно, в глубине души верили, что кошмар этот кончится, и довольно скоро. Не так скоро, но лет через 20 об этом уже можно было рассказать. Кое-что, правда, немного можно было в одно время прочитать в журналах (Дьяков, «Повесть о пережитом» – журнал «Октябрь» за 1965 год; Солженицын, «Один день Ивана Денисовича» в журнале «Новый мир» за 1962 год). Все же об этом принято молчать. Но как ни делай вид, что ничего подобного не было – оно было, и забывать этого не следует. Никаких ужасов я разоблачать не собираюсь, но эти страницы из жизни не вычеркнешь.

### **ГЛАВА 1**

Лето 1937 года было жаркое и тревожное. В Азове все еще было спокойно, но в Ростове, а главное в Москве в бешеных темпах шли разоблачения врагов народа. Каждая новая более или менее известная фамилия повергала в недоумение и ужас: «Как? И этот? Что же это такое? Как это могло случиться?»

Но все это в общем не мешало жить и работать, так как все это происходило с врагами народа, а честным людям можно было за себя быть спокойными. Так старалась думать я, но мужа слишком часто видела задумавшимся.

Тревожнее стало, когда пришло известие из Ростова, что арестован Ефим Григорьевич Раскин. Он недавно был первым секретарем Азовского РК партии, мы дружили семьями, совсем недавно я была у них в Ростове. И вдруг весть еще страшнее – Раскин расстрелян. Молодого, жизнерадостного Ефима не стало. Да и для Василия это могло оказаться роковым: «Прохлопал у себя под носом врага народа», – вот что ему скажут. В том, что Раскин – не матерый враг, у нас сомнений не было, но все же копошилась мыслишка: а

может быть, все-таки за ним что-нибудь было? Вспоминались некоторые его черточки, которые нам всегда казались чуждыми коммунисту.

Ефим Раскин был молодым человеком лет 30, не больше. Умница и энергичный. Видимо потому что он с мальчишеских лет «ходил в начальниках», у него выработались несимпатичные черты «руководящего работника». Женат он был тоже на крупном «руководящем работнике» – председателе Краевого Союза учителей Варваре Петровне Яновской. Они привыкли жить на широкую ногу. В Азове Раскин отделал квартиру из шести комнат, все стены под масляную краску, установил ванну – небывалую в районе вещь. (Все это, конечно, не за личные средства.) Раскин любил помпезные собрания, многолюдные митинги и никогда не выступал на немногочисленных собраниях. По случаю получения Рыбзаводом ордена Ленина он организовал грандиозный праздник на острове-заповеднике в устье Дона. Почти весь город повалил туда на катерах, глиссерах, моторках. Всех кормили и поили бесплатно. Муж был в отпуске, и Ефим прихватил меня с собой. Было много гостей из Ростова, и Раскин показал им, какая он фигура, каким почетом его окружают. Это было смешно, и я ругала себя, что поехала.

Раскин был моложе мужа почти на десять лет, и ему был чужд демократизм старого коммуниста, хотя муж никогда на показ им не щеголял. Как-то из-за порчи водопровода я брала воду в колонке на улице. Василий как раз шел с работы и взял у меня полное ведро. Навстречу идет Раскин (жили мы недалеко от райкома). «Что это ты демонстрируешь свой демократизм?» – вполне серьезно спросил он. Муж только удивленно на него посмотрел. (Вероятно, было бы приличнее, по мнению Раскина, если бы я тащила ведро с водой, а муж делал вид, что он не знаком со мной).

Как-то в выходной день я дежурила в райкоме. Раскин был в отпуске, и посетителей в его кабинете принимал Василий. [В то время отец был вторым секретарем РК. – Г.Д.]. К Райкому подъезжали время от времени председатели колхозов, партторги, директора заводов. С озабоченным видом они направлялись к двери кабинета, и, приоткрыв ее, спрашивали: «Можно, Василий Дмитриевич?» После чего входили. Так было до обеденного перерыва. В перерыве появился Раскин, приехавший из отпуска, и расположился в своем кабинете. Появился посетитель, который стремительно направился к двери первого секретаря. Сидевший недалеко от двери помощник секретаря Иванченко на вопрос посетителя: «Там?» – несколько медлительно ответил: «Раскин? Там». Взявшийся было уже за ручку двери посетитель остановился, постоял в раздумье у окна и... медленно вышел. Так повторялось несколько раз с прибывшими людьми. Некоторые, постояв, подумав, входили к Раскину.

Дома я описала мужу эту картину. Он подумал. «Как ты это расцениваешь? – спросил он. – Вероятно, это не очень лестно для меня?» Я возразила. Либо на Раскина не слишком надеются, либо боятся его резкости. А это не лестно для него, как для партийного секретаря.

В последнее время Ефим работал в Ростове секретарем партбюро завода-гиганта «Ростсельмаш». Он занимал в заводском поселке двухэтажный коттедж. Внизу была большая столовая, кабинет, какая-то почти пустая проходная комната, кухня, комната для домработницы. Из столовой наверх вела широкая деревянная лестница, там были спальни и детская. (У них было трое детей: две девочки – падчерицы Раскина и маленький сын.)

Меня приняли по-дружески, но спать почему-то положили не в столовой на диване, а на составленных стульях в проходной комнате. Утром в восьмом часу меня будит домработница: «Вставайте, сейчас к Ефиму Григорьевичу придет парикмахер».

– Ну и что? – удивилась я.

– Он здесь его брить будет. Вставайте.

Недоумевая и посмеиваясь, я встала.

Действительно, явился парикмахер, которому пришлось немного подождать, пока сверху спустился Ефим в халате. Я еще в то время не видела коммуниста в халате и с интересом взирала на эту барственную фигуру. Вспомнила, что Раскин не одобрял, когда

муж иногда надевал фетровую шляпу. Но то на людях, а это дома. Позавтракав, Раскин сел в ожидавшую его машину (до работы был один квартал расстояния) и уехал. Значительно позже спустилась Варвара Петровна с детьми, позавтракали, и она предложила подвезти меня по пути. «А вы куда?» – поинтересовалась я. «На рынок», – был спокойный ответ. Машина уже ждала ее внизу.

Василий был озадачен и огорчен моим рассказом: «Ты шутишь? Вот черт!»

Раскин был первой жертвой из тех, кого мы хорошо знали, и хотелось понять, за что же он погиб. Его замашки могли, в крайнем случае, вызвать выговор; впрочем, никого возможно не удивляло его смешное барство. Может быть, он что-нибудь знал, да смолчал? На него это не похоже. Все это было ужасно непонятно и потому тревожило. Надо было поехать в Ростов к Варваре Петровне, но я совершенно не могла придумать, как себя с ней вести. Наконец собралась. Но в знакомом коттедже никого из них уже не оказалось. Зашла на их прежнюю квартиру, и там их бывшая соседка поведала мне, что и Варвара Петровна арестована, а дети в Москве у родственников, их туда отвезла старшая дочь Варвары Петровны, пятнадцатилетняя Ира, которая устроилась на работу, чтобы содержать младших детей.

В Ростове зашла к старым знакомым Алениным. Там настроение было подавленное: Аленина исключили из партии (он преподавал историю в пединституте), и он с невеселой улыбкой сообщил, что чемодан уже приготовил – ждет «визита». За что? Кто-то где-то установил, что он искажает историю.

Еще более расстроенная, я вернулась в Азов.

## ГЛАВА 2

28 августа я пришла с фабрики домой на обеденный перерыв (работала начальником отдела кадров и рабочего образования Азовской чулочной фабрики). Торопливо вошел муж и сказал, что его вызвали телефонограммой на бюро Крайкома партии. Это бывало и раньше (муж был членом Пленума Крайкома), но сердце как-то тревожно забилося. Однако я не показала вида. Муж только взял какие-то бумаги, плащ, и как был – без шапки, в летней защитной форме – направился к дверям. До сих пор перед глазами этот момент: я стою в своей комнате, что-то делаю у стола, он остановился в столовой около двери, посмотрел на меня спокойно, большой, широкий, с пышной гривой седых волнистых волос. Я помахала ему рукой. Он кивнул и вышел. Ведь вечером он должен вернуться.

Сколько раз потом я терзалась, вспоминая эту прощальную минуту: ведь оба чувствовали, что надо что-то сказать друг другу, он же не зря остановился у двери и смотрел на меня. Но оба делали вид, что все в порядке.

Вечером я поджидала в одиночестве, нянька и маленькая Галюшка спали в глубине квартиры. Светлана была в Ельне у бабушки с дедушкой. Иногда муж возвращался из Ростова ночью. Я оставила на столе ужин, электрочайник и прилегла на диван. Мне было не в новинку ждать мужа, всегда я его откуда-нибудь ждала: с заседания, из командировки, из отпуска.

Наша 15-летняя совместная жизнь – почти сплошные расставания и встречи. Включила радио. Передавали о встрече в Москве трех летчиков, перелетевших Северный полюс: Громова, Юмашева, фамилию третьего забыла. После часу ночи пошла в спальню и легла спать. Бывало и так: бюро затянулось, возможно завтра нужно проверить какие-нибудь дела. Шофер Коля не зашел, значит, ждет мужа в Ростове.

На следующий вечер та же картина: на столе ужин, я на диване. Но опять напрасно. Мысли об аресте у меня и тогда не появилось, почему-то рисовалась такая картина: исключили из партии, он переживает, поэтому не едет.

Утром 30 августа я вышла из дому, направляясь на работу, и на углу около райкома увидела Бочкова, второго секретаря, и еще двух работников райкома. Они поклонились мне без улыбки. Я задержалась узнать, не звонил ли Василий Дмитриевич. «Нет, не звонил», – как-то замедленно ответил Бочков, и замолчал.

– А шофер Коля не вернулся? – спросила я, чувствуя, что к сердцу подступает не просто тревога, а самый настоящий дикий страх.

– Коля вернулся еще вчера.

Страх усилился, но я по дороге на фабрику продолжала мысленно ругать Колю, который не зашел и ничего не рассказал. Я еще не представляла себе, что привычная жизнь кончилась, все стало другим, и этому Коле нет до меня никакого дела.

Весь день я подбадривала себя мыслью, что я же ведь ничего не знаю, все разъяснится не сегодня завтра.

Вечером, прождав до 12 часов, я не выдержала и пошла к Бочкову. В доме был свет, дверь открыл сам Александр Иванович. Он был в одних трусах, видимо, ложился спать. Он мне не предложил войти, не извинился за свой вид, а только вопросительно посмотрел на меня.

– Александр Иванович, что вы знаете о Василии Дмитриевиче?

– Ничего, кроме того, что вчера его стол в райкоме опечатали работники НКВД.

– Он арестован?

– Не знаю.

Разговора не получилось.

Назавтра часа в 2 дня меня вызвали к телефону в проходную (хотя у меня в конторе был телефон). Незнакомый мужской голос сказал, чтобы я шла домой, ко мне пришли по делу.

В квартире я увидела начальника НКВД, еще одного в форме, какого-то дядьку невзрачного вида и женщину в платке.

Начальник протянул мне бумажку: ордер на обыск.

– А почему обыск?

– Не знаю.

– Муж арестован?

– Не знаю.

Вошли в кабинет. Начальник стал копаться в письменном столе, а сотрудник – выворачивать книги, бумаги из книжного шкафа. Остальные стояли в дверях. Где-то дальше маячила нянька, которую не выпускали из комнаты ни к Галюшке, ни в кухню к плите, где варился обед. Все подозрительное сваливали в мешок. Подозрительным же оказалось почти все, особенно фотографии. Особое оживление вызвал альбом с кадрами из киносъемки: старые казаки едут в Москву на совещание «инспекторов по качеству», а муж сопровождает их, как инициатор этого движения. В Москве их принимал начальник Управления Политотделами МТС Криницкий, который теперь уже был объявлен врагом народа. Великолепно сделанный кадр, где Криницкий что-то говорит мужу на ухо, сидя в президиуме, а муж хохочет, вызвал замечание: «Воображаю, что он ему тут нашептывает». И альбом полетел в мешок.

В одном из ящиков стола оказалось восемь серебряных полтинников. Это покойная мать мужа не захотела оставить своего младшего сына без наследства. Хозяйство ее досталось Ивану, который жил в деревне, а для Василия у нее были только эти полтинники, которые нелегко было, наверное, накопить в деревне, где некому и нечего было продать. Эти злосчастные полтинники вызвали негодующее замечание у тех, кто производил обыск, а на мои объяснения, что это память о матери, начальник заявил: «Не имеет права хранить серебро».

Вдруг сотрудник с торжествующим видом поднес начальнику книжку из собрания сочинений Ленина и ткнул пальцем в титульный лист, где значилось: «Под редакцией Бухарина».

– Вы видите, товарищ начальник, это же Бухарин!

Я не выдержала:

– Это Ленин, а не Бухарин.

Подумав, начальник велел положить книгу на место.

Из кабинета вынесли битком набитый мешок книг, бумаг, писем, фотографий. По другим комнатам только прошли, спрашивая: «А здесь что?»

Когда все ушли, нянька попробовала начать голосить, но я ее оборвала: «Вернется».

– Вернется, но когда? – И она стала рассказывать, как мужа одной ее знакомой когда-то арестовали, и он вернулся только через шесть лет. Я в душе ахнула: «Столько, может быть, ждать и мне?! Это невозможно. Да нет, все разъяснится, и он самое позднее через 2–3 месяца вернется». Но и этот срок меня ужаснул. «Как, 2–3 месяца в тюрьме! Раздетый, без всяких вещей, морально убитый! Это просто недоразумение, он вернется через неделю другую». Это я решила твердо.

Вечером я заглянула на фабрику проверить, как работает одна из новых учениц. Яркий свет из окон, шум машин меня взбудрили. Во дворе я столкнулась с парторгом фабрики Шульгиным. Это был молодой пожарник, человек довольно приятный, но недалекий и авторитета на фабрике не имеющий. Он меня остановил: «Слушай, кто это тебя сегодня вызывал днем домой?» В голосе его были любопытство и подозрительность. Промелькнула мысль: сказать или не сказать? Ведь еще ничего не известно, недоразумение разъяснится, а шум поднимется. Будь Шульгин не такой легковесной фигурой, я бы с радостью поделилась всеми своими тревогами. И неизвестно на что надеясь, я ответила, что просто приходили по одному личному делу.

– Да? – недоверчиво спросил он. Моя неоткровенность его, оказывается, оскорбила, и он мне это припомнил.

### ГЛАВА 3

1 сентября утром меня предупредили, что в 12 часов будет партийное собрание фабрики. Мой заместитель, милейший человек Филиппов, поинтересовался, о чем собрание. «Меня будут исключать из партии». Глаза его округлились. «За что?» – «За то, что мой муж арестован как враг народа». Филиппов медленно опустился на стул и уставился на меня испуганными глазами. Так он ничего и не сказал, только шевелил губами. (Впрочем, что тут можно сказать?)

Это было 1 сентября, начало учебного года на рабочих технических курсах, и мне предстояло по традиции пройти по классам и поздравить учащихся с началом занятий. Филиппов предложил заменить меня, с тревогой вглядываясь мне в лицо.

Но я сама прошла по всем четырем классам со свитой из завуча, председателя фабкома и очередного преподавателя, и везде жизнерадостно поздравила учащихся с началом учебного года и пожелала им успехов.

Перед собранием забежала домой, торопливо написала маме письмо и, передавая его няньке, сказала, что если я к 6 часам вечера не приду, бросить это письмо в почтовый ящик. Нянька заголосила, я на нее цыкнула, а сама отвернулась, затряслась от рыданий. Но взяла себя в руки и отправилась на собрание.

Собрание не кончилось в 6 часов, и когда я примчалась домой, дома никого не было. Вспомнив, что нянька ничего не предпринимает, не навестив семьи своей сестры, я помчалась к Моте. По дороге встретила няньку. Идет в слезах, тащит полуторагодовалую Галюшку и письмо в руках. Радости ее не было конца.

Что можно сказать о собрании? Оно было тягостно. До начала собрания все молчали, как-то само вышло, что я оказалась в одиночестве на конце стола, остальные теснились к президиуму. Присутствовал один из секретарей РК Муравицкий, который и сообщил, что Дударев арестован как враг народа, и теперь надо решать вопрос обо мне. Члены партии

выступали с большими паузами: с одной стороны, все были потрясены, с другой – сказать-то, собственно, было нечего кроме общих фраз. Про меня почти не говорили, только Шульгин рассказал, как я его обманула, скрыв обыск в своей квартире. От меня потребовали, чтобы я рассказала о вредительской деятельности мужа и почему скрывала ее от партии. На меня никто не смотрел. Стараясь быть спокойной, я коротко, с паузами, сказала, что жила с мужем 15 лет, знаю его только как хорошего коммуниста, под его влиянием вступила в комсомол и в партию, и ни в какие его вредительские действия не верю. Это вызвало некоторый шум, и пылкая Кульбачная воскликнула: «Но он же арестован!» – «Это недоразумение, которое со временем разъяснится». Меня стали убеждать, что я как член партии обязана вскрыть преступную деятельность Дударева. Но ни один из выступающих – а выступали почти все, за исключением нескольких человек – не сумел выдвинуть ни одного обвинения против Дударева. Напирали на то, что враги народа хитро маскируются; Дударев держался как порядочный человек, сумел к себе расположить массы, в работе старался быть образцом, а все это – маскировка. Были упомянуты и внешний представительный вид Дударева, и его обходительное обращение – все это как неоспоримое свидетельство его чуждого происхождения. Совсем уж смехотворным было выступление мастера Орищенко. Он вспомнил, что Дударев, выступая на собраниях, редко смотрел прямо перед собой, а часто поворачивался то в одну, то в другую сторону. За эту скверную для оратора привычку я часто подшучивала над Василием: «Профиль у тебя, конечно, выразительнее, чем фас, но все же надо смотреть прямо на тех, кому говоришь». Оказывается, говорил Орищенко, это совесть ему не позволяла смотреть людям в глаза. (Совесть, значит, все-таки была.)

Я страшно устала от многочасового потока то страшных, то нелепых фраз, и только ждала: когда же конец? Все ведь было предрешено. Еще раз мне задали вопрос: признаю ли я Дударева врагом народа? Еще раз я сказала – нет. «Но ты этим ставишь себя вне рядов партии!» – «Вы все равно меня исключите».

Меня, конечно, исключили.

На другой день мне предстояло явиться на бюро райкома партии. С утра я была на работе и изо всех сил старалась делать вид, что ничего страшного не произошло, даже оделась понаряднее. Почему-то и после, пожалуй до самой войны, я прилагала немало усилий, чтобы казаться спокойной, больше следила за своей внешностью и детей старалась одевать понаряднее. Не люблю жалости. В райкоме даже мельком взглянула в большое зеркало и была поражена: никогда я не видела своей физиономии такой выразительной и интересной. Ну что ж, тем лучше!

На заседании бюро Муравицкий доложил о партсобрании на фабрике и о том, что я отказалась признать мужа врагом народа. Он несколько раз простодушно повторил: «Ну что ты скажешь, не признает, да и только!» Второй секретарь обратился ко мне с укоризной, как это я могу спорить с очевидностью, я себя этим подвожу под исключение.

– Где, где очевидность? – не выдержала я. – Район получил орден Ленина за сельское хозяйство, в сводке по краю он на одном из первых мест, Рыбзавод получил орден Ленина.

– Это была маскировка.

– А выдвигенцы из рабочих, тот же Муравицкий...

– Ну, это ширма.

– А я? Что, я тоже вредитель? Какие у вас ко мне обвинения?

– Ты тоже ширма.

Тут начались высказывания, которые сводились все опять к тому же: несмотря на прекрасную работу Дударев – враг народа. Выступил начальник милиции, немолодой, с обрюзгшим лицом пьяницы. Он, видимо, решил подкрепить выступления аргументами. Что только я услышала! Дударев – бывший помещик, бывший белый офицер, «по выхоленной роже и его военной выправке видно было, что дворянчик, который бил морды солдатам».

Я не выдержала и стала огрызаться. Почему он не запросил Вяземский район, ему бы объяснили, что Дударев – сын крестьянина-средняка, брат его и сейчас там крестьянствует. Белым офицером он не был, и вообще офицером; в старой армии прослужил солдатом 2 месяца в Семеновском гвардейском полку и в феврале 1917 года после расформирования полка пошел на учительские курсы. «Где и кого он мог бить по морде?» – «Мне рассказывал один, как Дударев дал ему в зубы. Он и теперь колхозников крыл матом».

Передо мной мысленно выростала вместо Василия какая-то зловещая фигура, раздающая зуботычины и кроющая матом. И это Василий, который в самую яростную минуту произносил с чувством: «Едят тя мухи с комарями!» (Почему-то именно «с комарями»). Я даже назавтра спросила у Филиппова, работавшего когда-то с мужем в МТС, часто ли Василий матерился. Филиппов, подумав, сказал, что он такого случая не припомнит.

На заседании бюро меня тоже продержали порядочно. Конечно, членам бюро хотелось самим кое-что уяснить, но все, кроме начальника милиции, были сдержаны в своих оценках. Партийный билет я положила перед Бочковым.

Дома – какие-то пустынные комнаты, расстроенная нянька. Схватила маленькую Галюшку. Хорошо, что она еще ничего не понимает. Счастье, что Светлана в Ельне. Ей четыре года, но она очень чутка была к моим настроениям. А в душе у меня полное смятение. Страшная боль за мужа, которого мало того, что засадили в тюрьму как злодея, но и имя его смешали с грязью. Боль за себя казалась несущественной рядом с тем, что навалилось на него. Я гнала от себя пугающие мысли: как же я буду без Василия? Без его широкой спины, за которой мне было так надежно и уютно? И неужели всему конец?

Не это было главное для меня, главное было там, за решеткой. Я, помню, поразились, когда, встретив жену арестованного Паупорника [Фамилия может быть мною понята неверно. – Г. Д.], услышала от нее горькую жалобу: «Я так скучаю без Левы, так скучаю». Если бы беда была только в этом!

#### ГЛАВА 4

Потянулись дни, каждый из которых требовал напряжения всех сил, чтобы выдержать, во что бы то ни стало выдержать!

Меня понизили в должности – перевели из заведующей кадрами в управделами фабрики. Это было закономерно. Спасибо, что вообще не оставили без работы. Управделами продержалась недолго – кто-то сообразил, что у меня фабричная печать, это опасно. Перевели в бухгалтерию. Пришлось осваивать арифмометр, всякие дебет-кредиты. Зарплата, правда, на 100 рублей меньше, но это меня не волновало тогда, к тому же мы так мало проживали в это время.

Вдруг как снег на голову – счет из Горсовета за квартиру на какую-то баснословную сумму. Иду в Горсовет. Оказывается, мы не платили за лишнюю площадь в течение нескольких лет. «Почему же вы не взыскивали раньше?» – Пожимание плечами.

Юрист на фабрике сказал, что можно было бы судиться, но в моем положении он не советовал бы. Повезла в Ростов ковер, часы мужа, 11 томов Большой Советской Энциклопедии (Не сразу, а в несколько приемов.) Хорошо, что поезд уходил ночью. Нянька, взвалив мне на плечи тяжеловесный тюк, принялась голосить: «А Боже ж мой, да как же вы понесете? Да тяжело ж!». Но я тащила через весь город. К счастью, в Ростове открыли скупочные пункты, где от таких как я принимали все подряд.

В Азове выходила газета «Колхозное Приазовье». И вот почти ежедневно можно было прочесть в ней крупные заголовки: «Коварный враг разоблачен», «Бухаринский последыш», «Выкорчевываем Дударевское охвостье», «Троцкистский прихвостень» (как-то совмещалось у них одно с другим). Я скоро перестала читать эти статьи, уже было

ясно, что Дударев – «наймит Гитлера», замысливший уничтожить советское государство, подлый и коварный враг, продавшийся англо-американскому империализму.

Как ни относилась я к этой стряпне, но сердце страдало. Откроешь шкаф, там висели вещи Василия, уткнешься в рукав его любимой темно-синей гимнастерки и трясешься от рыданий: «Боже, что с тобой сделали! Хорошо, что ты этого ничего не знаешь! А мне какво!».

Почти никто из знающих меня людей не здоровался, и я очень ценила тех, кто был со мной хотя бы вежлив. Однажды на улице подошла незнакомая старушка в белой панамке и сказала: «Мы очень, очень вам сочувствуем, товарищ Дударев такой благородный, такой добрый, и мы не верим, что он враг народа». Я была ошеломлена и не помню даже, поблагодарила ли я старушку.

А вот сценка в Горсовете, где я платила за квартиру. Толстая девица, принимавшая плату, долго «не замечала», что я стою у стола. Вошел почтальон и положил ей на стол «Колхозное Приазовье». Развернув газету, девица стала читать вслух очередную статью, проклинающую Дударева. От такой наглости даже сотрудники обомлели и пригнулись к своим бумагам. Я стояла как каменная и старалась, чтобы мое лицо ничего не выражало. А девица расплывалась от удовольствия, комментируя статью: «А? Бывают же такие прохвосты!» Внутри у меня все дрожало, хотелось упасть и завывать в голос, или же вцепиться в эту девку и отколотить ее как следует. Но ничего этого нельзя было сделать. Я смотрела ей в лицо в надежде, что она прочитает в моих глазах, что я о ней думаю.

Выселили из квартиры. Это тоже было закономерно, но как это было сделано! Позвонили на работу и сообщили, что пришла машина перевезти меня на другую квартиру и через час машина должна быть свободна. Куда? На какую квартиру? Никто о переезде не предупреждал. И вот мы с нянькой и с шофером кидаем навалом в кузов книги, постели, посуду, платья и то небольшое из мебели, что было лично наше. И хорошо, что я успела продать пианино. На него уже начиналась охота. Пришел как-то финагент и сообщил, что ему поручено взять пианино за долги (за какую-то смехотворно малую сумму). Я сумела пристыдить старичка, и он ушел ни с чем, а мы с нянькой скорей переправили пианино к Моте, а потом продали. Деньги, 3 тыс. рублей, я отвезла в Ельню брату Михаилу, когда ездила за Светланой.

Поселили нас в маленькой комнатке в одно окно. Большинство вещей пришлось свалить в сарае.

Были ли у меня тогда друзья? Были очень близкие знакомые супруги Дедерер, оба врачи. Знакомство завязалось со времени болезни маленькой Светланы. Но оба они очень испугались, никогда ко мне не заходили больше и меня просили заходить поздно вечером. Марианна Николаевна просто была в паническом состоянии, и в ответ на мое удивление объяснила: «Вы молоды, вам ничего не страшно. А я боюсь, я не переживу». И они вскоре уехали их Азова, правда, писали мне письма, и один раз я к ним ездила в Красный Сулин.

Принимала во мне участие семья Моти, нянькиной сестры, они всегда готовы были помочь, чем могли. [Мотя с сыном погибли в Азове во время войны от прямого попадания бомбы в их дом. – Г.Д. ].

И появилась Харьковцева Галина Максимиллиановна. Она работала на фабрике плановиком, и до сих пор мы с ней при встречах на фабрике кое о чем при встречах болтали. Это была худенькая интересная женщина под 40 лет с пышными волнистыми волосами. К ней в отдел часто заходил ее муж, представительный мужчина, он всегда приносил ей или цветок, или конфеты. Они сравнительно недавно были женаты и были влюблены друг в друга.

Когда я осталась одна, Харьковцева была единственной, кто держал себя со мной, как и раньше, и даже под разными предлогами заходила ко мне и к себе звала. Однажды вечером она вдруг вошла с каким-то странным лицом и, опустившись на стул, сказала: «Нет Виктора Васильевича».



С тех пор мы сошлись теснее. С одной стороны, ей было легче, чем мне: вокруг нее не было никакого шума, многие даже не знали, что ее муж арестован. С другой стороны, у меня были дети, а она была одна. Как жаль, что я потеряла ее следы во время войны! Запрашивала фабрику после войны, но там о ней ничего не знали.

Каждое воскресенье мы с Галиной Харьковцевой ездили или в Ростов, или в Батайск, и там рыскали среди товарных составов в надежде найти в каком-нибудь эшелоне своих мужей и передать им кое-какое подкрепление. Эшелонов мы видели много. Это были наглухо закрытые, обледеневшие товарные вагоны, даже небольшое оконце наверху было забито железом, только оставалась щель. Из вагонов доносился приглушенный гул голосов. Проходя вдоль эшелона, мы окликали: «Дударев есть? Харьковцев есть?» Гул стихал, иногда раздавалось в ответ: «Нету». Как-то мы наблюдали издали, как из таких вагонов высыпали люди в кавказской одежде, под окрики охраны они выстроились против вагонов, а потом... сели на корточки. Мы с Харьковцевой решили, что так видно полагается на кавказский манер. (Впоследствии я познакомилась с этим идиотским обычаем, который распространялся не только на кавказцев.) Ничего не добившись в Батайске, мы стали ездить в Ростов в надежде найти следы своих мужей в каком-нибудь из мест заключения. На главной улице, Садовой, где находилось Управление НКВД, обычно на несколько кварталов тянулась длинная очередь из женщин. У каждой в руках «передача», но как редко удавалось кому-нибудь что-нибудь передать! Долгие часы люди выстаивали, чтобы из окошка в стене услышать: «Такой у нас не числится».

Почему-то Галина Харьковцева в Ростов не ездила, обычно я одна отправлялась. И вот однажды неожиданно прозвучало: «Дударев? Есть такой». Я засуетилась с вещами, стала совать сумку с продуктами, узел с одеялом и бельем, но мне приказали только отобрать несколько предметов из белья. Тут же развязав и разобрав вещи – мне помогли окружающие – я отобрала две рубашки, двое трусов, носовые платки и гребень. Кажется, еще носки. Разрешили написать записку, только «по делу». Я была счастлива и этим. Василий узнает, что я его ищу, что я о нем думаю. Я так боялась, что, не получая вестей от меня, он подумает, что я от него отвернулась. Так, я слышала, поступали некоторые жены, кто из них – поверив страшному ярлыку «врага народа», кто – от страха за себя и детей.

Оказывается, очень немногие решились во всеуслышание заявить, что они не считают своего мужа врагом народа. Большинство придерживалось формулы: «Я ничего не знала». Так что обо мне даже в Ростове некоторые узнали и передавали другим рассказ о том, как я держалась при исключении из партии.

В записке я только перечислила вещи, которые передаю, и приписала: «Все здоровы. Целую». Через некоторое время мне вернули сумку и мою записку, на обороте которой рукой Василия было написано: «Все получил. Спасибо...» и дальше две строчки были густо затерты химическим карандашом – тюремная цензура.

Больше ни разу мне не удалось ничего мужу передать. Неизменный ответ: «У нас не числится». Стояла часами и около городской тюрьмы. Тот же ответ.

[Как стало известно мне уже в 1989 году, в то время, когда матери удалось передать отцу смену белья, его привезли на заседание Военной Коллегии для решения по его делу, и в тот же день, 19 июня 1938 года, отец был расстрелян. Мать, конечно, ничего этого тогда и представить себе не могла. – Г.Д.]

## ГЛАВА 5

Время шло. Тревог и волнений стало меньше, я стала привыкать к своему положению отщепенца. Вот тогда пришла тоска, простая тоска по Василию. Думалось, пусть все осталось бы как сейчас, т.е. изоляция от общественной жизни, уныленькое скудное

существование, только бы Василий был со мной. Но я понимала, что это слабость, и гнала ее от себя.

Привезла из Ельни Светлану. В Ельне мой папа был растерян, но по обыкновению шумно выражал свое недоумение и склонялся к мысли, что Василий несомненно в чем-то замешан. Мама не колебалась, воспринимая все происшедшее как непонятное несчастье. В разговорах людей стало упоминаться слово «ежовщина». Ежов – нарком внутренних дел, и молва приписывала ему происходящие репрессии. В «Крокодиле» появилась карикатура: рука в железной рукавице сжимает извивающегося человечка – врага народа, и подпись: «В ежовых рукавицах».

От Светланы я скрывала истинное положение и говорила ей, что папа в длительной командировке. Даже ко дню рождения организовала ей посылку якобы от папы.

Летом 1938 года к нам пришли с конфискацией имущества, из чего я заключила, что состоялся приговор по делу мужа. Но к конфискации я была подготовлена разговорами в очереди около НКВД в Ростове, и что поценнее из вещей мужа отправила в Ельню. Огорчила меня конфискация моего личного фотоаппарата. Напрасно я доказывала, что аппаратом меня премировала фабрика. Мне ответили: «Не имеете права пользоваться фотоаппаратом».

Дети и работа, да еще поездки в Ростов на розыски мужа – вот вся моя жизнь. Со мной осталась нянька, которая не посчиталась с тем, что я больше не могла ей платить, и просто причислила себя к членам нашей семьи. Мне говорили: надо уезжать, здесь вы слишком заметная фигура, в другом месте вам будет легче. Но глупая надежда, что муж вот-вот вернется, а меня не будет на месте, удерживала меня в Азове.

В очередную поездку в Ростов, в июне 1938 года, я не застала обычной толпы около НКВД. Лишь несколько женщин с заплаканными расстроенными лицами подходили, тревожно переговаривались и уходили. Я спросила у одной, в чем дело. «А вы не знаете? Многие жены арестованы, некоторые успели уехать, и я сегодня уезжаю». Ошеломленная известием, я вернулась в Азов. Нянька сейчас же решила: вам надо уезжать. Это было ясно и мне. Но не так легко это было сделать с детьми, с вещами, да и еще удерживала боязнь потерять всякий след Василия.

22 июля поздно вернулась с работы – я уже работала самостоятельно бухгалтером фабричной столовой – и решила искупать детей перед сном. Нянька в это время с соседями обирала абрикосы в нашем общем саду. Выйдя на крыльцо позвать детей, я увидела под деревьями мужчин, один из них в форме НКВД, другой в белом костюме, третий в милицеевской форме. Они разговаривали с соседями. Я вернулась в комнату, за мной торопливо вошла нянька и, ломая руки, произнесла: «Они за вами пришли, за вами».

– Не выдумывайте глупостей.

– Чую я, чую, что за вами.

В этот момент по коридору раздались мужские неторопливые шаги. Несколько пар мужских ног явно топали к нашей двери. Это был, пожалуй, самый страшный момент в моей жизни: приближающиеся тяжелые мужские шаги... До сих пор, спустя 30 с лишним лет, если в тишине квартиры раздаются неторопливые мужские шаги, я теряюсь.

Вошли трое, все молодые, красивые и привлекательные. Мы с нянькой сидели рядом на моей кровати. Они поздоровались, и тот, что в форме НКВД, не торопясь достал бумажку: ордер на обыск.

– А потом вы меня арестуете? – с ужасом вырвалось у меня. Он замялся: «Если это будет нужно»...

Тут впервые самообладание покинуло меня. Я в голос зарыдала: «Кому я мешаю? Живу тихо, незаметно, никому ничего плохого не делаю, работаю, почему меня надо сажать в тюрьму?» Это был наивный вопль в конец растерявшегося человека, и мне долго потом за него было стыдно. Тот, что в белом костюме – он оказался следователем – попытался меня успокоить: «Ну, почему вы так отчаиваетесь? Ничего страшного с вами не случится. Будите работать, потом вернетесь».

– А детей куда? – взяв себя в руки, спросила я.

– Детей отправим в детдом.

Это вызвало новый взрыв отчаяния. Почему-то я смертельно боялась детдомов. В конце концов пришедшие согласились, что детей можно отдать бабушке с бабушкой, если они могут их содержать. Я заверила их, что мой брат поможет. А пока они будут с няней.

Начался так называемый обыск, который выражался в том, что сгружали в мешок мои письма, бумаги, фотографии, книги. Только записная книжка привлекла их внимание, и увидев, что там нечто вроде дневника, следователь положил ее в карман.

Почему-то потребовали принести все детские вещи и разложить их отдельно: в одно место Светланины, в другое – Галины. На мой недоуменный вопрос: зачем? мне было сказано: «Так полагается». К тому времени дети давно уже прибежали из сада и стояли около стола. Когда я заплакала, Светлана немедленно разразилась громким плачем. Но дети есть дети. Увидя суматоху с разбором вещей, они обрадовались развлечению, хватали из-под рук шубы, шапки, напяливали все это на себя. Мужчины улыбались, глядя на эту возню.

Наконец велели мне собирать вещи, которые я возьму с собой. На вопрос, что именно брать, мне ответили: «Что хотите». Нянька стала класть одеяла, простыни, зимнее пальто, летнее, белье. Иногда я поднимала какое-нибудь нарядное платье и спрашивала: «И это брать?» – «И это возьмите».

Получился огромный узел помимо чемодана. Я испугалась, что будет тяжело, но следователь меня успокоил, что мне самой таскать не придется. Последнее, что сунула нянька, был мешочек с абрикосами, туда же она положила кусок белого хлеба, сушки и все деньги, которые были в доме – 56 рублей. Больше ничего в доме не было.

Перед уходом мне разрешили, хоть и неохотно, написать текст телеграммы в Ельню: «Приезжайте за детьми. Няня» и доверенность няньке на 150 рублей в сберкассе. Мои вещи подхватили следователь и милиционер, я быстро расцеловала детей, няньку и поторопилась выйти.

Была теплая южная ночь. Когда мы вышли к центру, оказалось, что несмотря на поздний час (был первый час ночи) еще было полно гуляющих, главная улица была ярко освещена, слышалось шарканье ног по асфальту, смех, пахло цветами. Я шла между двух мужчин, но один из них был в форме НКВД, а другой нес чемодан, и прохожие быстро соображали, что это значит. Сначала испуганный или любопытствующий взгляд, замедленные шаги, потом – опущенные глаза или взгляд в сторону. На углу под фонарем стояла с компанией начальник цеха нашей фабрики Розенберг. При виде меня она сначала оцепенела, потом резко повернулась спиной. Зная ее, я восприняла этот жест правильно.

Пока в дежурке НКВД заполняли документы, выяснилось, что со мной нет папирос. Сопровождающий меня милиционер выхватил из кармана пачку «Севера» и протянул мне. Его я раньше видела, это был грек по фамилии Манджос, поразительной красоты человек, но, по-видимому, порядочный шалопай. Он же повел меня по коридорам, и мы очутились перед темным спуском куда-то вниз, откуда пахло сыростью и вонью. Я невольно отшатнулась. Манджос деликатно взял меня под руку, но я отстранилась и храбро стала спускаться по каменным ступеням в подвал. Так я очутилась в маленькой камере, где стояли две продавленные койки с грязными матрацами и табуретки.

В этой камере я провела четыре дня. Обращались со мной в общем хорошо. Утром молодой охранник по моей просьбе, при этом несколько удивленный, принес таз с водой. Еще больше он удивлялся, когда я просила его выйти, чтобы на свободе как следует умыться. Но выходил. Что мне давали есть, я совершенно не помню, по-моему, я ничего не ела, кроме нескольких абрикосов и сушек. После завтрака с громом распахивалась дверь и на пороге камеры появлялся сияющий Манджос, который возглашал: «Ирина Николаевна, пожалуйста на прогулку!» Пока я стояла и бродила по заросшему травой дворику, он курил в дверях и пытался завязать со мной разговор. Я отвечала односложно. За забором я слышала уличную жизнь, иногда детские голоса, и мне все казалось, что я

слышу голоса своих детей. Мне бы попросить Манджоса, чтобы он сходил к нам домой, он бы наверняка не отказался это сделать. Но я замкнулась на все замки и не хотела даже глядеть на этого источающего благорасположение красавца.

Только через три дня в час ночи меня вызвали на допрос. Тогда все допросы почему-то происходили ночью. Допрос длился четыре часа. Я задремывала, дремал минутами и следователь. Иногда приходили еще другие сотрудники, в том числе начальник. Это был уже не тот, который в прошлом году делал обыск, а другой, по фамилии Иванов, интеллигентного вида человек в пенсне. (Это не помешало ему отобрать мое пенсне, несмотря на все мои протесты.) Основное содержание допроса – рассказать о преступных действиях мужа. Когда из этого ничего не вышло, стали расспрашивать о тех, кто бывал у нас. Особенно добивались подробностей о тесном знакомстве с Дедерерами. Им казалось странно, что Дедереры, беспартийные врачи, так часто бывали в нашем доме. О чем могли быть разговоры? Ясно, сплошная антисоветчина. К моему объяснению, что разговоры были о детях, о болезнях, о литературе, о театре, играли на бильярде, отнеслись иронически: «Ну, значит пьянствовали каждый вечер». – «Но никто из нас не пьет». – «Как, совсем не пьет вина? Не врете». Мои слова, что изредка выпить рюмку хорошего вина – не значит пьянствовать, встретили легким ржанием. Как им ни хотелось навести тень на Дедереров, это им не удалось.

Потом взялись за мою записную книжку. Читали, уткнувшись в нее носами. Там были записи очень личные, читали они с интересом. Вдруг следователь резко спросил (он вообще старался говорить резко и делал страшные глаза, но он был так молод и у него был забавный рыжеватый хохолок, что мне не было страшно): «Как вы осмелились назвать в своих записках парторга Шульгина политическим недоноском? Это оскорбление партии». – «Так Шульгин же не партия». – «Шульгин избран партией, следовательно, это партия». Я ему объяснила, что, по-моему, в партии могут быть разные люди, одни мне нравятся, другие – нет. Тогда следователь обрушил на меня еще один увесистый вопрос: «Вы выражаете недовольство арестом мужа, вы знаете, что это называется антисоветскими настроениями?» – «В первый раз слышу, – изумилась я. – Не могу же я быть довольна арестом мужа, причем здесь советская власть в целом?»

Вошедший в это время начальник подсел к следователю и решил помочь следствию. Он стал меня убеждать «как умную женщину» не упрямиться, а выложить все начистоту, что я знаю преступного за мужем. Несмотря на его лестное мнение обо мне, выложить мне было нечего. Он даже посулил мне, если я буду откровенна, то меня немедленно отправят в лагерь. «А если нет?» – «Будем держать здесь, в камере». Но и эта сомнительной приятности перспектива ничему не помогла.

Впервые за три дня я заснула крепким сном, измученная четырехчасовым сидением на стуле и нудным допросом.

## ГЛАВА 6

На другой день меня вызвали подписать протокол допроса. В протоколе в основном все было правильно, преобладали выражения «ссылалась на то, что ничего не знает», «отказалась отвечать». Только в конце была коварная фраза: «Признает, что в связи с арестом мужа у нее были антисоветские настроения». Я запротестовала.

– Какая разница! – воскликнул следователь. – Дела не меняет.

Действительно, это дела не меняло, и я согласилась.

Позже меня вызвали «с вещами». На дворе уже стоял грузовик, в нем – группа мужчин. Стоящий в дверях начальник крикнул мне: «Скорее, скорее, сейчас отправляем!» Попробуй тут скорее с двумя тяжелыми вещами. (Не раз еще я вспомню следователя с его легкомысленной или провокационной фразой: «Вам самим таскать не придется». А кому же?) А тут еще задача: как погрузить такие тяжелые вещи в машину и как самой

взобраться? До сих пор мне не приходилось этого делать без посторонней помощи. Я беспомощно суетилась вокруг машины, пока оттуда не протянулась мужская рука, которая ухватила мои вещи, а потом и меня втянула. Я увидела, очутившись в кузове, кто мне помог. Это был старик Мышкинис, гардеробщик с фабрики. Года полтора назад у нас в отделе кадров появился этот человек, донельзя худой, в совершенно истертой, но ослепительно белой, отглаженной толстовке. Он просил работы, доверительно сообщив, что всю жизнь работал кассиром на вокзале, но теперь стар, болен, а работать нужно, иначе ему и жене нечего будет есть. Я взяла его гардеробщиком, хотя раньше у нас таковой не водился, как-то обходились. Но по штату должность была. Мне удалось разжалобить предфабкома Кульбачную и выцарапать у нее бесплатные талоны в столовую. Старик был ужасно благодарен и с тех пор, завидя меня на фабрике, прямо расцветал. Как же он-то попал сюда? Правда, он был литовец. Охранник, вскочивший вслед за мной в машину, велел нам всем сесть на дно кузова и пригнуться, чтоб нас не было видно из-за бортов. Ехали-то по главным улицам.

Вот и вокзал. Машину подали к составу, стоящему в стороне, почти вплотную к вагону с решетками. Опять с помощью старика Мышкиниса я перебралась из машины в вагон. Я оказалась одна в отделении, а мужчины были в другом. У дверей стоял охранник. Волновал вопрос: куда нас везут? Я слыхала, что держат или в Ростове, или в Таганроге. Почему-то боялась Таганрога, мне казалось, что там застряну надолго, и обо мне забудут.

Смотреть в окно не разрешали, но когда поезд остановился, я по времени поняла, что это Ростов. Вызвали мужчин. Вагон опустел. Неужели меня повезут дальше, в Таганрог? Но вот окрик: «Выходи!» – и я очутилась в «черном вороне». Я осмотрелась. По обеим сторонам фургона были длинные скамейки, разделенные перегородками наподобие кабин. Сзади дверь с решетчатыми окнами, да небольшое окошко в кабину водителя. У дверей охранник. Я оказалась не одна: напротив меня сидел мужчина, почему-то голый, в одних линючих трусиках. Это был, видимо, еще молодой человек, о чем можно было только догадываться по цвету волос, такой он был землисто-серый, изможденный, такой у него был безнадежный взгляд. Много позже мне стало понятно, что этот человек путешествует из одного места заключения в другое, и как все заключенные наших краев, давно ничего не носит, кроме трусов.

Меня привезли, как я поняла, в НКВД, но там не приняли. После короткой перебранки меня повезли дальше, в городскую тюрьму. Там тоже не хотели принимать. Становилось забавно, явно никому не нужный арестант. После изрядной ругани охранник сунул пакет с моими документами дежурному и уехал. Я осталась в тесной дежурке.

Никто мной не интересовался, сновали взад и вперед работники тюрьмы, со двора доносился шум машин, и вдруг в дежурку ввалилась толпа мужчин. Они быстро заполнили ее всю. «Сесть!» – раздалась команда, и все сели... на корточки. Я сидела у стены на своем чемодане, а напротив меня на корточках расположилось человек 20 мужчин, молодых и пожилых, но одинаково серых, запыленных, распространяющих какой-то тяжелый запах, запах тюрьмы. Присмотревшись, становилось видно, что люди в основном интеллигентные, некоторые с обвислыми брюшками – явно «ответственные», привыкшие больше ездить, чем ходить. Все они украдкой меня рассматривали. Вдруг команда: «Раздевайсь!» Мужчины заволновались, опасливо поглядывая в мою сторону, стали стягивать свои ветхие костюмы. На лицах недоумение. Охранник собрал всю одежду и, пристроившись в углу на столе, стал острым ножом срезать все пуговицы. Мужчины приглушенно зашумели: «Зачем? Что за новости?» «Молчать!» – заорал охранник, потом официальным тоном объявил: – Срезаются все пуговицы, кроме кокосовых». Кое-где раздался смешок: «Ну, брат, теперь не убежишь». «А вдруг у меня кокосовые, черт их знает», – размечтался кто-то.

Большинство уселось на пол. Сидевшие совсем близко от меня тихонько извинились: «Вы нас извините за такую неприглядную картину». Я только рукой махнула. Старалась не смотреть на них, чтобы их не смущать, но смотреть было больше некуда. На некоторых

не было даже трусов, только тряпка на бедрах. Охранник начал возвращать одежду, все торопливо натягивали ее на себя и чертыхались, не обнаружив пуговиц ни на брюках, ни на рубашках. Вдруг раздался торжествующий возглас: молодой человек, жгучий брюнет явно кавказского происхождения, вышел на середину и, поворачиваясь во все стороны, стал демонстрировать на себе белый военный костюм, на котором были целехоньки все пуговицы. «Кокосовые, а? Я и не знал, что они кокосовые», – радостно повторял он. Все завистливо вздыхали, придерживая руками спадающие брюки. Военный прошелся по дежурке, приблизился ко мне и попросил кружку напиться (кружка была у меня привязана к чемодану). Этого было достаточно для знакомства, он сел рядом со мной на мой чемодан, и у нас завязался разговор. До чего же, значит, все тюремные работники запарились в этот день, некому было предотвратить такое вопиющее нарушение тюремных правил, как разговор заключенных мужчины и женщины, который длился при этом часа два. Впоследствии в тюрьме при встрече с заключенным мужчиной нас, женщин, поворачивали лицом к стене, а на голову мужчине накидывали пиджак или мешок. А тут мы сидели среди бела дня в дежурке на виду у пробежавших мимо охранников, под взглядами нескольких десятков заключенных, и долго беседовали вполголоса. Мужчины старались прислушаться к нашему разговору, но окружающий шум им мешал. Думаю, что мой собеседник потом их проинформировал о содержании нашего разговора. Это был военный из Нальчика, где разгромили весь штаб. Уже два года как он приговорен в 10 годам тюрьмы, но очень недолго просидел в Орловском центре. Потом его стали возить с места на место, и возят уже второй год, нигде не задерживая более двух дней. Он ужасно устал от нескончаемых эшелонов и мечтает о тюремной камере.

Узнав, что я арестована как жена врага народа, он помрачнел: «Вот как! Значит, и жен теперь берут». У него, оказывается, была жена и две маленькие девочки. Расспросил меня обо всех политических новостях, кто из видных деятелей арестован. «А за что вы арестованы?» – наивно спросила я. «Я террорист, – хладнокровно ответил он, закуривая папиросу, которую я ему предложила. Признаюсь, мне стало как-то не по себе. «Против кого же вы готовили террористический акт?» – «Если бы я знал!» – воскликнул он. Тут мы оба рассмеялись. – «Говорят, что против “самого”, – понизив голос, добавил он, – но я ничего об этом не знаю». – «Что же вы говорили на суде?» – «Какой суд! – воскликнул он со своей южной горячностью. – Объявили мне, что я осужден на 10 лет тюремного заключения, и велели подписаться». – «И вы подписались?» – удивилась я. «Подписался. Мы все здесь подписались, – он обвел взглядом присутствующих. – Какой смысл тянуть? Один черт! Тут важно уцелеть. А сейчас чем хуже, тем лучше». И он выразительно посмотрел на меня, глаза его оказались неожиданно голубыми.

Раздалась команда: «Выходи!» – и все стали выстраиваться у двери. Мой собеседник пожал мне с благодарностью руку и, уходя, сказал: «Сегодня мы ночуем в камере, может быть, и завтра. А потом опять в дорогу. Вы, может, услышите, как меня будут отправлять. Моя фамилия...» И он назвал кавказскую фамилию, которую я все время помнила, а вот сейчас она вылетела у меня из памяти. Я тогда не поняла, как я могу узнать о его отправке, но через два дня, ночью, во дворе собирался этап и выкликали фамилии отправляемых. И я услышала его фамилию. Беднягу опять куда-то повезли.

Дело шло к вечеру, а я все сидела в дежурке. Мне даже принесли поесть: жареную рыбу под томатным соусом. Но у меня не было аппетита, к тому же вид облупленной миски и ложки вместо вилки никак не могли его возбудить. Я устала. Мне хотелось скорее в камеру, вытянуться на койке, какой бы она ни была. Наивная душа! Я не знала, что такое камера в 1938 году!

## ГЛАВА 7

Уже стемнело, когда вспомнили обо мне. Явилась пожилая надзирательница неприступно-строгаго вида в форме и велела отобрать из узла несколько необходимых вещей, а остальное оставить на хранение. Я увязала все-таки три одеяла, простыню, маленькую подушку, два халата, летний и теплый, смену белья. Деньги у меня отобрали и выдали взамен квитанцию. Перед выходом надзирательница стала меня обыскивать. Она хлопала руками поверх платья, заглянула в туфли, потрепала волосы. Каким-то непостижимым образом я сообразила, пока она ходила за квитанцией, спрятать иголку и английскую булавку под большие пуговицы на груди платья, а в наволочке у меня хранилась расческа. Ничего этого надзирательница не заметила. Эти вещи были назавтра встречены в камере тихим «ура».

Повели меня через двор, но не в камеру, а в баню, где сдали толстому надзирателю. В бане было пусто и холодно. В предбаннике надзиратель сказал: «Раздевайтесь», – и продолжал стоять. Я ему объяснила, что разденусь, когда он уйдет. «Что за глупости!» – проворчал он. Я села, показывая своим видом, что раздеваться не собираюсь. Он пожал плечами, но вышел и сел у открытой двери во дворе. Я быстро обмылась холодной водой.

Появилась та же надзирательница и повела меня по бесконечным еле освещенным коридорам. На третьем этаже она загремела ключами около двери № 92, открыла тяжелую дверь и... я замерла на месте.

Ко многому я была готова, но то, что я увидела, было ни на что не похоже. Большая, тускло освещенная одной лампочкой камера была полна пара. И в его клубах прямо на полу копошилось несметное количество голых тел, которые занимали все пространство до порога и до пресловутой параша. На звук открываемой двери кое-где приподнялись кудлатые головы. Какие-то призраки, и сколько их здесь! Надзирательница подтолкнула меня и захлопнула за моей спиной дверь. Я застыла на пороге – ступить было некуда. А напротив двери были настежь распахнуты два широких окна с решетками, и с улицы проникал шум большого города, гул трамваев, даже голоса и смех. Вдруг ко мне подползла одна из этих странных фигур и вполголоса спросила: «Это вы?» Я взглядела в существо, стоящее передо мной на четвереньках: черные длинные волосы распущены по плечам, на смуглом голом теле только ярко-зеленые трусики, узкие черные глаза – ну индеец, настоящий индеец! Но это оказалась знакомая мне дама, с которой я встречалась в очереди у НКВД. Мы тогда познакомились и понравились друг другу. Она держалась с большим достоинством и выдержкой, была одета строго и со вкусом. И вот она передо мной в таком малочеловеческом образе. При ее содействии кто-то подвинулся, я смогла сунуть в освободившееся пространство свой узел и сесть на него. Большого сделать было нельзя. Вот тебе и растянулась на койке! Я просидела всю ночь, иногда тихо отвечая на вопросы ближайших соседок.

В 6 часов утра всех вызвали «на оправку», и в большой уборной я увидела, как бесстрашно все подставляли свои плечи, спины под холодную струю из крана. Скоро я поняла, что это было единственное спасение в обстановке сверхпереполненной камеры и жаркого южного лета. И в том, что все сидели голые, тоже была необходимость: все обливались потом, со стен текло от избытка дыхания, одежда прела прямо на глазах, а у некоторых не было с собой даже смены. Но ни грязи, ни тем более паразитов в камере я не увидела. Два раза в день, утром и вечером, дежурные мыли пол, для чего все должны были стоять, держа свои постели в руках; два раза в день окачивались холодной водой, под краном же стирали свои немудрые пожитки, а два раза в месяц водили в баню. Правда, баня была почти холодная и водили почему-то всегда ночью, но все же можно было основательно потереться мочалкой с мылом.

Три раза в день приносили бак с едой, чаще всего с так называемой «баландой» – перловым супом на поджаренном луке, или с борщом. Все это было без признаков мяса, но есть можно было сколько влезет. Хлеба выдавали по 600 граммов. На первых порах мне показалось питание достаточным, но меня предупредили: подождите, увидите, достаточное ли питание. Действительно, недели через две я уже с нетерпением ожидала

эту баланду, а хлеба мне явно не стало хватать. Вот когда я вспомнила о брошенной на окне в дежурке миске с жареной рыбой!

Самое тяжелое положение, как выяснилось сразу же, было с местом для сна. В камере метрах на сорока должно было разместиться 80 человек. Спали так: весь пол был поделен на три ряда, в каждом ряду подсчитаны половицы (к счастью, пол был деревянный), и на двух человек отводилось полторы доски определенной длины, с таким расчетом, чтобы на них уместились лежа «валетом», конечно, на боку. Ноги визави находились в головах у другого. Спасало то, что все очень следили за чистотой, и нерях быстро призывали к порядку. Говорили, что у мужчин в камере грязно и спят они по очереди.

В камере не было никаких предметов, кроме параша у двери, ею пользовались только пожилые или больные.

Где-то надо было держать разные предметы необходимости, приобретаемые, как выяснилось, в привозном ларьке каждые две недели: сахар, мыло, зубной порошок, лук, чеснок, кое у кого папиросы. Но тюрьма научит. Стены камеры были давно не отремонтированы, в штукатурке появились трещины. Женщины плели из распущенных чулок при помощи английской булавки сетки и вешали эти сетки со своим имуществом на стены, прикрепляя их деревянными колышками, которыми к порции хлеба прикреплялись довески. Носильные вещи хранились под постелью. Конечно, ни у кого не было никаких матрацев, у многих были одеяла, а у других, которых бесчеловечно взяли «в чем стояла», не было ничего. Жили скромными пожертвованиями от имущих. Я оказалась богатой – три одеяла. Конечно, при ближайшем знакомстве два я отдала.

Постиранные вещи никуда не вешались, т.к. некуда было, а сушили так: двое брались за концы и трясли до тех пор, пока вещь просыхала. Ее аккуратно складывали и подкладывали под себя. Получалась неплохо выглаженная вещь. Некоторые чистюли особенно щеголяли безупречным видом своего белья.

Когда в дверях камеры появлялся надзиратель или начальник тюрьмы, вообще мужчина, все женщины моментально прикладывали к своей груди носовые платки. Считалось, что они приняли достаточно приличный вид для приема мужских особ. Только дежурные по камере надевали шелковые комбинации (не было своей – занимали у других), чтобы свободнее общаться с «внешним миром», т.е. с коридором.

Длинные дни заполнялись в основном разговорами, некоторые ухитрились вышивать, хотя это было строжайше запрещено и не было материала. Но нашли и здесь выход. Из одежды вытягивались цветные нитки; так и у меня был моментально «обработан» халат, отделанный зеленым шелком – зеленого нужно было больше всего. В камере было две-три иголки, утаенные, подобно моей, от бдительного ока надзирательницы. Вышивальщицы забирались за печку, где они не просматривались из глазка на двери, остальные были на чеку. При мне некоторыми мастерицами были созданы великолепные вышивки на простой тряпке или наволочке. Кусок моей простыни тоже был быстро отхвачен для этой цели, не говоря об иголке, которую я видела очень редко и тогда прятала ее в швах байкового халата.

Иногда нас водили на прогулку в тюремный двор. Правда, редко, видимо у тюремного персонала не хватало на это времени. Тут уж мы надевали платья и обувь. Ходили вокруг двора по четыре в ряд, заложив руки за спину. Разговаривать не разрешалось. Посередине двора под деревянным грибом стоял часовой с ружьем, а в стороне – охранник. Мы украдкой бросали взгляды на окна, где иногда мелькала мужская голова. Одна из нас, молодая Шурочка, однажды вернулась с прогулки в истерике: она утверждала, что увидела в окне лист бумаги, на котором было написано: «Шура, я здесь». Я не очень поверила Шуре, ей скорей всего померещилось, так как откуда взялся бы лист бумаги и карандаш, да и как она могла разглядеть в окне третьего этажа? Но все же все волновались, а я проклинала свою близорукость: вдруг бы и я увидела своего мужа?!

Окна подвального этажа были забраны листами железа, но когда мы близко проходили около них, слышался гул мужских голосов. Иногда гул затихал и раздавался



негромкий вопрос: «Такая-то есть?» «Женщины, нет такой-то?» Кто-нибудь из нас отвечал, не поворачивая головы: «Нет». Мы боялись себе представить, каково мужчинам в этих закупоренных железом коробках. Вообще им было неизмеримо тяжелее, чем нам. Об этом говорил даже внешний вид. Те мужчины, которых я видела в дежурке, и те, которых иногда удавалось рассмотреть через глазок в двери, если их зачем-либо выводили в коридор, выглядели крайне изможденными, все имели запущенный вид, а выражение лиц было трагическим. Здесь и явное недоедание (даже нам не хватало питания); здесь, несомненно, тяжелый моральный гнет – ведь им, как правило, инкриминировались чудовищные преступления; здесь и бесконечные ночные допросы, которым почти никто из женщин не подвергался. Я была, кажется, единственная в камере, которая «удостоилась чести» пережить допрос, вероятно, потому что в Азове я была слишком заметной фигурой и при том единственной арестованной женой.

Что это были за допросы, мы боялись себе представить. В камере я слышала приглушенные разговоры тех, кто не упускал случая посмотреть в окно, если на дворе слышалось какое-нибудь движение, особенно ночью. Они говорили, что после допроса мужчины редко выходят из машины сами, а некоторых даже выносят. В это не хотелось верить, это было слишком чудовищно и никак не увязывалось с моим представлением о советских чекистах. Думалось, женщины что-то путают. Но вот в камере появилась новая заключенная Драгилева, член партии. Она однажды мне тихонько рассказала, что на допросе у следователя столкнулась со своим мужем, его тоже привели на допрос, но к другому следователю. Допрашивали его в соседней комнате, дверь оказалась полуоткрытой, и она сама видела, как следователь подошел и ударил его кулаком под челюсть. У него изо рта потекла кровь. Муж этой женщины сказал: «Как вам не стыдно! Советский следователь!» – за что получил второй удар. Но тут дверь захлопнулась, и Драгилева больше ничего не видела. Я не могла поверить, но приходилось. Я задавала себе вопрос: что же это за люди? какая школа их воспитала? какие книги они читали? И ведь большинство, наверное, состояли в партии. Неужели так быстро можно потерять человеческий облик, почувствовать свою власть над людьми и полную безнаказанность?

## ГЛАВА 8

Из того, что я рассказала про жизнь камеры № 92, можно сделать вывод, что обстановка была довольно спокойной. И действительно, я, очутившись здесь, как-то успокоилась. Вокруг меня были люди, равные мне по своему теперешнему положению, доброжелательные, с некоторыми я довольно скоро сошлась близко. Кончилось ожидание всяких неприятностей, а мелкие тюремные неприятности были ничто. Оставалось одно – дети. Конечно, они ни на минуту не выходили у меня из головы, так же, наверное, как и у других, но здесь было «табу». В камере была молчаливая договоренность – о детях не говорить. Эта тема слишком всех затрагивала. В первые же дни камере стало известно, что у меня двое: одной – 2,5 года, другой – 5. И этим все было сказано. Даже старались не думать о детях. О муже разрешалось говорить только то, что было до его ареста.

Все почему-то с нетерпением ожидали отправки в концлагерь, предполагая, очевидно, что там будет более нормальная жизнь, а не такое тупое бездействие, как здесь; что разрешат переписку и можно будет иметь весточку от своих. Никто не представлял себе, что такое концлагерь в то время, и для меня счастье, что я оно не узнала.

Что за люди были в камере? Подавляющее большинство – жены арестованных. Было несколько человек со «своими делами». Люди были разные, но я как-то со всеми ладила. Меньше всего, как это ни странно, я ладила с Олимпиадой, т.е. со своей знакомой, женой инженера. Она оказалась довольно строптивой женщиной, ей многие не нравились, и она не скрывала этого, посматривая неодобрительно из своего угла узкими черными глазами, ворча себе под нос что-то нелестное по их адресу. Ко мне она относилась хорошо.

Однажды, когда она думала, что я сплю, Олимпиада кому-то отчаянно меня расхваливала, причем особенно одобряла, что я не скрываю своего интеллигентного происхождения и не говорю, что у меня «папа – от сохи, а мама – прачка». Но ее раздражала моя близорукость. Она сидела близко у двери, и я, пробираясь за порцией баланды или чая, всегда задевала ее длинные ноги. Мои извинения не помогали. Она шипела сквозь зубы: «У-у, черт слепой!» Я не сердилась, но стала ее предупреждать: «Олимпиада, убери свои оглобли». Так мы слегка перебранивались все время. В моем представлении как-то совершенно не вязался прежний облик утонченной дамы с той Олимпиадой, которую я видела теперь. Человек без одежды, видимо, становится самим собой.

Каким-то образом Олимпиада заболела рожистым воспалением на лице. Когда пришли забирать ее в тюремную больницу, она страшно почему-то испугалась, вся затряслась и только беспомощно повторяла: «девочки, девочки...» Я вскочила и, провожая ее до дверей, старалась успокоить и на прощание поцеловала ее. Вся камера потом обрушилась на меня за глупую неосторожность, но я не могла иначе поступить. Несколько дней все интересовались моей физиономией, но все обошлось благополучно. И Олимпиада вернулась здоровая и отдохнувшая. Между прочим, она никогда не участвовала в разговорах о лагерях, о том, что женам дают 10 лет. У нее была какая-то непоколебимая уверенность, что она вернется домой, что все это нелепое недоразумение. И муж вернется, ведь он честный советский инженер. Завидная уверенность! Не знаю, как насчет ее мужа, а Олимпиада действительно вернулась домой.

В камере оказалось человек 15 жен бывших меньшевиков. Они держались как-то обособленно, были наиболее строптивыми в камере. Они были измучены неоднократными репрессиями, применяемыми к их мужьям, и ни во что хорошее уже не верили. Большинство остальных были «большевики», т.е. жены коммунистов, а некоторые и сами партийные. Очень многие сидели уже больше года, ни разу не вызывались на допросы, и конца этому сидению не предвиделось. Как-то сама собой сбилась группа, которая стала руководить настроением камеры. Сюда входила Нина Дубасова, ставшая вскоре моей ближайшей подругой. Она была беспартийным агрономом, бывалым человеком и пользовалась авторитетом у женщин. Лия Фрумкина – смешная 50-летняя старая дева, бывшая подпольщица, не блиставшая ни умом, ни красотой, но кроткое безобидное существо. Мы ее жалели – заслужила за свою долгую партийную деятельность тюремную решетку у советской власти. Сюда входила Аня, бывший комсомольский работник, умница, хоть и резковатая по характеру, Мария Ивановна – врач-невропатолог, интересная женщина, и я. Мы располагались в разных рядах, но днем встречались для бесед. Мы следили за настроением в камере, и если кто-то слишком погружался в мрачную задумчивость, спешили развлечь разговором. Или же начиналась у кого-нибудь истерика (что было нередко), тогда мы общими усилиями старались ее прекратить. Однажды прозевали, и тут такое началось! Одна за другой женщины падали с истерическим криком. Пришлось применять резкие выражения и даже зажимать рты, так как общая истерика – это страшно. Прекратили ее в самом начале. Однажды одна «меньшевичка», очень неуравновешенная особа, начала буйствовать ночью, колотить в дверь, ругаться, кричать. Еле оттащили и держали ее, но надзирательница все же появилась, быстро сориентировалась в обстановке, и назавтра злополучную Оглоблину забрали в карцер. Через два дня она вернулась, но я не слыхала, что она рассказывала о карцере. Мы старались вечерами занять всех какой-нибудь самодеятельностью. Чаще всего кто-нибудь рассказывал содержание прочитанных книг, было несколько певиц с небольшими приятными голосами, декламаторов, и была красавица-армянка Мариам, которая танцевала. Классическая девичья фигура, огромные голубые глаза и белоснежное лицо при черных волосах – это я встречала только у армянок. Она сидела за то, что у нее были родственники в Иране. На крошечном пространстве под тихий напев нескольких голосов эта обнаженная фигурка с точеным профилем зачаровывала.

Наша группа взяла на себя организацию встречи новеньких, которые изредка поступали в камеру. Надо было куда-то уложить людей, для чего в сотый раз пересчитывались доски пола и всем приходилось сжаться до невозможного; разъяснить порядки, которые здесь заведены, в общем, принять участие в человеке. Еще были заботы о больных. Среди нас были женщины-врачи, но они были беспомощны без медикаментов, иногда приходилось вызывать тюремного врача. Уход за больными почему-то всегда ложился на меня, вероятно после случая с Олимпиадой все решили, что я не боюсь заразиться. В моем ряду была некто Дора, сидевшая по «своему» делу, но никогда не говорившая, в чем оно заключается. Она объявила голодовку как протест против полуторагодового сидения без допроса. Через несколько дней она совершенно ослабела, и мне пришлось хлопотать вокруг нее. Дору не любили, к тому же она за время голодовки стала неопрятной, и все ее сторонились. Я тоже не любила ее, но ведь куда ее не денешь. Наконец, по нашему настоянию, ее забрали в больницу, и мне пришлось впрячься в носилки вместе с санитаром. После этого меня иногда в шутку называли «Ирка-санитар».

В первые дни моего пребывания в камере меня потрясла женщина по имени Лена. Это была красивая, мощная женщина лет 40, с совершенно седыми волосами, но с одной черной прядью спереди, чернобровая, со смертельно бледным лицом. Ее глубокие серые глаза были обведены черной тенью, что делало лицо трагическим. Она помещалась напротив меня, и вот днем и ночью я видела ее перед собой всегда в одной позе: обхватив голыми руками свои сильные ноги, она тихонько качалась взад – вперед, устремив в пространство свои красивые, но страшные глаза. По-моему, она никогда не спала; этим, видимо, и объяснялись черные круги под глазами. Какая страшная дума ее терзала? Я узнала о ней, что она – работница какой-то фабрики, вдова, есть дети и был еще какой-то мужчина в ее жизни. Она была членом партии. Вскоре ее вызвали «с вещами», и поспешно собираясь, она успела только бросить: «Восемь лет». Это было еще милостиво, женам давали по 10 лет.

Как-то просочился слух из соседней камеры, что жене Раскина – В.П. Яновской – дали 5 лет, и она танцевала от радости. Это было похоже на лотерею – кто что вытащит. Я старалась приучить себя к 10 годам.

Как-то у нас появилась великолепная женщина, настоящая русская красавица с золотыми косами, уложенными вокруг головы. Держалась она царственно. Днем все время стояла, может быть потому, что ей не хватало воздуха, и с легкой усмешкой смотрела с высоты своего немалого роста на копошащихся голых женщин. Сама она оставалась в голубой комбинации. Оказалась артисткой Московской филармонии. Больше она ничего о себе не сказала, и никто не решился ее расспрашивать. Конечно, стали просить ее спеть. И вот грянуло мощное меццо-сопрано необычайной красоты и разнеслось по всей тюрьме и даже было услышано на улице, так как женщины увидели, что на тротуаре против тюрьмы стали собираться люди. Захлопали двери, раздались тревожные голоса, мы все немного струхнули, как бы наша певица не угодила в карцер. Кто же знал, что это такой голос и что она так бесстрашно запоеет! Остановить ее никто не решался, все были зачарованы, да мы знали, что не сразу разберутся, в какой камере нарушен порядок. И действительно, певица исполнила одну вещь, перешла к другой, но в это время загрели засовы у нашей двери, и ей сделали знак замолчать. Все кончилось благополучно. Певицу скоро от нас забрали, но она еще несколько раз пела нам.

Рядом со мной помещалась Рая Ложкина. На вид ей можно было дать лет 50, седая, сгорбленная, с изможденным лицом, хотя тело еще молодое. Оказалось, ей 37 лет, и те, кто был при ее появлении в камере полгода назад, рассказывали, что пришла цветущая, пышная женщина. На допрос ее не вызывали ни разу. В чем ее обвиняют, она не знала, но думала, что здесь связано с братом, который давно эмигрировал в Лондон и писал ей письма. Дома осталась старуха-мать 80 лет; Рая терзалась мыслью, что она ее больше не увидит, да и как старуха живет без денег? Раю взяли в одном сарафанчике и в босоножках,

у нее ничего с собой не было. Пришлось поделиться с ней одеялом и половиной простыни. Рая была очень хозяйственная женщина, поражалась такой неумехе, какой я была тогда, но, к счастью, не очень ругалась, а учила уму-разуму. У нее был приятный голос, и она пела романсы, чаще всего «Шумит ночной Марсель». Помню комический эпизод с этой песней. Там есть такие слова:

Там жизнь недорого,  
Опасна там любовь,  
Недаром по утрам там негр-слуга  
Стирает с пола кровь.

Прослушав песню, я заметила Рае, что фраза «Там жизнь недорого» ужасно не вяжется со всей песней. «Почему?» – удивилась Рая. «Ну причем здесь дорогая или дешевая жизнь, когда тут такие страсти». Рая повалилась от смеха. Тут я поняла свою промашку: слишком прозаично я поняла эту фразу. Тут, по-моему, автор виноват: не пиши двусмысленности.

## ГЛАВА 9

Наступила осень, но окна мы по-прежнему держали распахнутыми, только кое-кто стал надевать на себя халат или сарафан. Огромной популярностью пользовался мой байковый халат. Днем кто-нибудь в нем отводил душу – грелся, а ночью я им укрывалась вместо одеяла.

В один из дней, когда был какой-то праздник, охрана закрыла окна. Очень скоро все начали задыхаться. Кто-то из женщин скомандовал: «Ложитесь!» Все легли, хотя днем обычно это не разрешалось. Я старалась глубоко не дышать и не шевелиться, но чувствовала, как подо мной промокает постель. Когда приподняла стеганое одеяло, на котором лежала, то пол под ним оказался мокрый. Несколько раз не выдерживали и начинали стучать в дверь. Появлялся охранник с винтовкой, открывал дверь и останавливался у порога. Мы жадно начинали вдыхать струю прохладного воздуха из коридора. Через несколько минут дверь опять закрывалась. Эта пытка продолжалась до вечера. Открылись, наконец, окна, мы освежились холодной водой под краном, только постели были мокрые.

За это время я неожиданно превратилась в главного рассказчика в камере. Прежние выдохлись, попросили меня, и с тех пор эта роль за мной закрепилась. Вот когда пригодилась моя страсть к чтению! Начинала я рассказ обычно после ужина, часов до 10 вечера все тихо лежали или сидели, повернув головы ко мне, я укладывала повыше свою постель и садилась у стены. Поздно вечером я мысленно восстанавливала в памяти следующую книгу. В благодарность за мой труд мне стали делать кое-какие поблажки: видя мою явную неумелость в мытье пола, меня освободили от этого (предварительно изругав по-дружески); кое-кто, страдавший плохим аппетитом, вручал мне после рассказа кусок хлеба, причем делалось это в шуточной форме и никакой неловкости не вызывало.

Большое оживление вносил ларек, который два раза в месяц располагался в коридоре. Разрешалось по одному выходить из камеры и под наблюдением надзирательницы что-нибудь купить. Особенным спросом пользовались чеснок и лук, все боялись цинги, да и пища была слишком пресной. Поэтому вся камера благоухала этими запахами, и мои вещи долго потом сохраняли тюремно-чесночный запах. Как я ни экономно расходовала свои 56 рублей, покупая в основном папиросы и мыло, но настал момент, когда все было израсходовано. В камере было несколько безденежных человек, их, конечно, угощали, но что я буду делать без папирос? Я, конечно, никому не говорила, что у меня кончились деньги, а просто с появлением ларька сделала вид, что я сплю. Меня растолкала Рая. В

руках у нее была моя сетка, битком набитая разными приятными вещами вроде сахара, мыла, папирос, лука и даже пряниками, которые здесь были удивительно вкусными. «На, держи, – и Рая протянула мне сетку. Я ничего не понимала. – Тебе велели передать». – «Кто?» – «Неизвестные лица». Я была тронута такой заботой товарищей, и с тех пор не знала недостатка в тех предметах, которые мог предоставить ларек: каждый раз моя сетка пополнялась.

Приближалась Октябрьская годовщина. Мы знали из рассказов «старожилов», что советские праздники здесь проходят в тяжелой обстановке. За окнами гремят оркестры, идут люди со знаменами, смеются, поют – идут советские люди на своем празднике. А мы кто такие? В силу какого страшного недоразумения мы не там, в их рядах, а здесь, за решеткой? Враги? Кому? Что мы совершили? И тут у многих психика не выдерживала. К тому же во время праздников тюремная администрация создавала особенно тяжелые условия: обыски, закрытые окна, запрещение разговаривать.

Задолго до праздников мы, то есть наша группа, стали обсуждать, что сделать, чтобы он прошел спокойно. Почти ничего, кроме обширной программы самодеятельности, мы не могли придумать. На вечер 6 ноября наметили концерт, 7 с утра я должна была рассказывать, вечером опять концерт, 8 ноября – та же программа. Я начала обдумывать, что же рассказать. Подсказали – «Анну Каренину». И длинно, и тема, далекая от современности. Шесть вечеров у меня ушло на подготовку. Да простит меня Толстой, я понимала всю безнадежность попытки «рассказать Толстого», но старалась воспроизвести не только фабулу романа, но и его дух. В эти дни меня никто не тревожил: «Ирина готовится». Мобилизованы были все певцы, декламаторы, рассказчики анекдотов. Была среди нас болгарка по имени Вена. Болгар у нас в камере было несколько человек. Это те, кто спасался от преследований правительства Цапкова и кого мы когда-то встречали с оркестрами. Вена была простая малообразованная работница, но начитанная, причем исключительно бульварными романами, о которых у нас давно забыли. Она любила рассказывать то, что она читала, но слушать ее было трудновато: по-русски она говорила не очень правильно, фигурировали у нее в основном князья, графы, баронессы. Вена с особым жаром передавала любовные сцены, причем в выражениях не стеснялась, так как речь ее вообще не отличалась изысканностью. Вена в свое время побывала в болгарских застенках (она была коммунистка), и вот теперь в свободной советской стране она опять за решеткой. Поэтому иногда на нее «находило», и ее нельзя было оставлять без внимания. Было решено, что Вена приготовит какой-нибудь рассказ, хотя в последнее время ее уже не слушали.

6 ноября вечером, только мы поужинали и начали готовиться к концерту, как загремела дверь камеры, появилась ватага охранников с криком: «Выходи!» Значит – обыск. Это было тяжелое переживание, потому что после обыска требовалось много труда, чтобы привести камеру в порядок. Нас так торопили, что почти никто не успел одеться, я была в халате, но босая, так и выскочила в коридор на цементный пол. Там нас заставили сесть на корточки, и так мы просидели, вероятно, часа полтора. В это время в нашей камере буйствовала ватага видимо не совсем трезвых по случаю праздника охранников. Потом нас повели «на opravку» (без мыла и полотенец), и только тогда впустили в камеру. О Боги, какое зрелище представилось нашим глазам! Это был погром. Все постели сбиты в одну громадную кучу посередине, все тряпочки раскиданы по всей камере, со стен сорваны сетки с провизией, и все высыпано на пол: сахар вместе с табаком, пряники с зубным порошком. Некоторые подушки были разрезаны, и по камере носился пух.

Не только о концерте – о сне нечего было и думать. Надо было работать. Несколько человек стали поднимать с пола вещи одну за другой, спрашивая: «Чья?» И хозяйка вещи забирала ее. Другие пытались как-то спасти остатки продуктов, но многое пришлось выбросить в парашу.

Всю ночь продолжалась эта работа. Когда разобрались, выяснилось, что кое-что исчезло, а именно: все вещи красного цвета. Это не было для нас новостью. Рассказывали, что был случай, когда 1 Мая одна девушка выкинула в окно красный флаг из своей косынки. Свидетелей этого теперь в камере не было, но, видимо, случай этот был, иначе непонятно, почему забирали все красное. И делали это с тупой дотошностью маньяков: была взята красная гребенка, у меня с платья срезали красные пуговицы и забрали красный халат с зелеными цветочками. Через несколько дней вещи возвратили, за исключением моих пуговиц.

7 ноября отпраздновали тем, что все спали почти весь день, замученные ночной работой и волнением. Закрытые окна на этот раз не очень нас донимали.

Я обнаружила, что отчаянно простудилась, болело горло, голова. Подняться я не могла. Меня осмотрела наш врач Заварзина и велела полоскать горло горячей водой с солью. Это единственное, что было в наших возможностях, и то два раза в день, когда приносили чай. По-видимому, вечером был концерт, но я ничего не помню, был сильный жар и я, кажется, все время спала. 8 ноября утром даже не встала на поверку. Кстати, выкликая каждое утро при поверке фамилии заключенных, ни один тюремный администратор не называл моей фамилии, и я каждый раз делала заявление об этом. Мою фамилию приписывали. Но листки, видимо, менялись каждый день, и опять моя фамилия не значилась. Это меня несколько волновало: почему я не числюсь здесь? А вдруг мои документы затеряли, и мне суждено тут сидеть энное количество лет?

На этот раз я не поинтересовалась, есть ли моя фамилия в списке, не до этого было.

А праздники в общем прошли в камере без особых эксцессов.

## ГЛАВА 10

Наступил вечер 9 ноября. Все поужинали и собирались укладываться. Вдруг загремели замки у двери. Это всегда было переживанием, тем более в такое неурочное время. Новеньких уже давно не поступало. На допрос? Или этап? Кого же вызовут?

В дверях показался начальник тюрьмы со свитой из надзирателей и охранников. Мы, как всегда, все встали и с тревогой смотрели на пришедших. Основательно помедлив, как это почему-то было у них положено, начальник начал читать фамилии, назвав человек 20. Потом опять длинная пауза и наконец: «с вещами». Началась суматоха. Все были озадачены. На дворе тишина, не слышно никаких сборов к этапу, и вдруг «с вещами». Куда? Или в другую тюрьму? Олимпиада, которая была ближе всех к двери, подползла к нашей надзирательнице и, потянув ее слегка за подол, беззвучно спросила: «Скажите, куда?» Надзирательница еле заметно кивнула на окно. Олимпиада обомлела. «Домой?» Надзирательница утвердительно моргнула. Обернувшись к нам, Олимпиада яростно прошептала: «Девочки! Домой!» Все застыли, а я вдруг хлопнулась навзничь. Около меня засуетились. «Ирина, что с тобой?» Я все слышала, но не могла пошевелиться. Незаметно в суматохе ко мне пробралась Заварзина и коротко сказала: «Шок».

20 человек, вызванных «с вещами», ушли, напутствуемые торопливыми наставлениями, просьбами. В камере стало значительно просторнее. И тут началось: кто смеялся, кто плакал, кто застыл на месте, устремив взгляд в одну точку. К последним относилась и я. Я не могла ни с кем разговаривать. Надо было освоиться с мыслью, что впереди, возможно, свобода, а не лагерь. О сне в эту ночь было забыто, а для меня – и на многие последующие ночи.

Назавтра в условленное время, в 3 часа дня – единственный час, который мы определяли по гудку ближайшей фабрики – все, кто мог, уставились в окна: должны были показаться на противоположном тротуаре некоторые из тех, кто вчера ушел. Это уничтожило бы все сомнения. Кто-то из женщин даже забрался на плечи других, чтобы не прозевать такой важный момент, ведь близко к окнам стоять было нельзя. И вот раздался

радостный вопль: кое-кого из «вчерашних» узнали, они медленно прогуливались по тротуару.

Итак, действительно, свобода. Пошли обсуждать: откуда подул ветер? Что произошло? И немедленно решили: сняли Ежова. Тогда это имя хоть что-то объясняло из всех непостижимых умом событий. Мы поняли так: надо было немного ослабить узел, который затянули на шее народа, и решили выпустить хотя бы жен.

В течение двух недель выпустили еще несколько небольших партий. Ушла и Олимпиада. Она взялась сообщить моим родителям обо мне, так как я на скорое освобождение боялась надеяться. Я ей записала адрес брата огрызком химического карандаша... на пятке. Но уввы! Потом я узнала, что надзирательница в дежурке углядела эту надпись, и пришлось бедной Олимпиаде долго отмывать пятку. Воображаю, как она ругалась!

И вдруг Нину Дубасову вместе с четырьмя другими заключенными (все беспартийные, сидели исключительно за мужей) отправили в административную ссылку в Восточный Казахстан на 3 года. Поистине все это походило на лотерею. Для Нины эта ссылка была бы не так страшна, если бы у нее были теплые вещи, но у нее было только демисезонное пальто и на ногах туфли с шелковыми чулками.

Мы с ней потом переписывались 10 лет, а в 1948 году встретились в Москве. Она рассказала про свой крестный путь зимой по казахстанской степи, как их вели в пургу и мороз. Когда они остановились погреться в каком-то кишлаке, оказалось, что чулки примерзли к ногам. Хозяйка-казашка, увидя, в каком Нина состоянии, упала с рыданиями перед ней на колени, а потом стала отпаривать ей ноги. По окончании ссылки Нина осталась в Павлодаре, с ней был сын. Она стала директором средней школы. Когда мы встретились, она перебиралась на Украину к брату. Грустно, но эта последняя встреча принесла мне разочарование. Нина мне не понравилась. Вместо стройной спортивного вида цветущей женщины я увидела толстую бесформенную матрону. Но дело, конечно, не во внешности. Она много говорила о своей работе в школе, и в ее рассказе так и просвечивало самодовольство оттого, что она железной рукой вывела школу в передовые, заставив весь коллектив беспрекословно ей подчиняться. При этом ее глаза поблескивали довольно страшно, особенно потому, что они были у нее разные – один карий, а другой голубой, а тон разговора был какой-то слащаво-елейный. Не знаю, какое впечатление я произвела на нее, но я после этого не ответила на ее письмо, и переписка наша прекратилась.

Я совершенно потеряла покой. До этого времени я отличалась завидным спокойствием, даже замечали, что я округляюсь: неподвижная жизнь, регулярное, хотя и недостаточное питание, многочасовой сон и примирение с неизбежным – всего этого было для меня достаточно, чтобы выглядеть нормально. Теперь все изменилось. Поманила свобода – и пропал сон, аппетит, пропало с таким трудом достигнутое спокойствие. В камере прекратились бесконечные беседы, каждый думал свою думу. У меня начался нервный зуд по всему телу, и я ночи напролет яростно чесалась. Конечно, появились расчесы, они начали гноиться. Мария Ивановна, единственная из врачей, которая еще не ушла, потребовала у начальства мази и стала лепить на мои болячки тряпочки с вонючей мазью. При этом она смешно бранилась, что ей, невропатологу, приходится лепить вонючие нашлапки какой-то арестантке черт знает на какие места. Вся камера, вернее то, что от нее осталось, ругала меня и не могла понять причины такой нервозности. Между тем, кое-какие причины были. Моей фамилии по-прежнему не было в проверочных списках, хотя шел уже пятый месяц моего пребывания в тюрьме. Кроме того, выпускали только жен, и я знала, что никого из них не допрашивали, никаких протоколов не составляли, механически перед отправкой в лагеря ставили им статью 58 пункт 12. Смысл этого пункта на тюремном языке формулировался так: знала, да не сказала. А у меня был протокол допроса, где фигурировали мои «антисоветские настроения». А вдруг я уже числюсь не под рубрикой «жена», а под каким-нибудь другим параграфом, как имеющая

самостоятельное «дело»? Пока никого из тех, кто сидел по «своему делу», не выпустили. Так я переходила от надежды к отчаянию, по крайней мере первое время с того момента, как начали выпускать.

В камере стало настолько просторно, что нас, оставшихся 18 человек, перевели в другую, маленькую. Это было к лучшему, там было как-то теплее. Ведь был уже декабрь. И окна мы перестали открывать.

Чтобы как-то отвлечься от тревожного ожидания, меня опять просили рассказывать прочитанное. К счастью, запас у меня был неисчерпаемый. И теперь уже с утра, сразу после завтрака, я начинала рассказывать и рассказывала обычно до вечера с перерывом на обед.

Из тех, кто остался в камере, большинство были люди, с которыми я довольно тесно сблизилась. Здесь была Рая Ложкина, Лия Фрумкина, Эльза, Мария Ивановна, Женя Пелль, Драгилева и другие. Где-то в больнице еще находилась голодающая Дора. Спали мы теперь «роскошно», каждый занимал столько пола, сколько хотел.

9 декабря был день, ничем не отличающийся от других дней. Давно никого не вызывали «с вещами», давно не было никаких происшествий, вся беспокойная публика ушла. Весь день я рассказывала, помню, роман Кронина «Звезды смотрят вниз». Я его закончила уже в сумерки. Решила поспать, только Эльза попросила меня «послушать, что делают мужчины». Если поставить на пол эмалированную кружку и приложить к ней ухо, можно было кое-что услышать из нижней камеры, где находились мужчины. Я приложила свой «аппарат». «Лекция по экономике», – сообщила я, уловив слова «товар», «деньги», «прибавочная стоимость». Отзевавшись, все растянулись на своих постелях.

Неожиданно загремели засовы у двери. Интересно, какие новости? Может, Дора вернулась?

В дверях молодой охранник. Ну, для этого мы вставать, конечно, не стали. Парень долго глядел в какую-то бумажку, решил, видно, получить свою порцию удовольствия, зная, как напряженно все ждут его слов. Наконец, прозвучало: «Дударева есть?» – «Есть». Опять длительная пауза. Я уже сидела на своей постели. «С вещами!» И он не спеша закрыл дверь. Все зашумели. «Домой, Ирина, домой!» Нет, тут что-то не так. Почему одну? Наверное, переводят в другую тюрьму или готовят этап.

Пока я собирала вещи, все меня успокаивали: «Этапа нет, ты же слышишь, на дворе тишина». Но наше окно теперь выходило на задний двор, где вообще ничего не было слышно. Встал вопрос: как быть с моими вещами, которыми пользовались другие? Если домой – с радостью все оставляю, а если этап, зимой? Пришлось отобрать теплый халат, одеяло. Только Рае оставила одеяло с простыней. Кто-то попросил оставить папиросы. «Девочки, (это было принятое у нас обращение, хотя некоторым «девочкам» было по полсотне лет), все пришлю с надзирательницей, если домой». Распрощались.

Пошли с охранником через пустынные дворы. Действительно, не заметно, что будет этап. Пришли в дежурку, ту самую. Подошли к окошку дежурного. Он долго перебирал бумаги, звонил по телефону – знакомый спектакль. Это длилось бесконечно долго. Ну, а мое дело – терпеть. Наконец, он протянул мне какую-то бумажку, тетрадь в переплете и ручку. «Распишитесь». Прежде всего я заглянула в бумажку, уловила только слова «за прекращением дела». Уф-ф! Домой! Расписалась и сейчас же спросила свой паспорт. В камере откуда-то было известно, что органы НКВД придумали остроумную шутку: выпуская из заключения, не давать паспорта. Вот тогда узнаешь, почем фунт лиха – ни прописаться, ни на работу устроиться. Не знаю, была ли это установка свыше или это было местное творчество. После долгого молчания дежурный сказал, что паспорт я получу в Азове. Что ж, посмотрим.

Принесли вещи из камеры, и тут появилась наша надзирательница. Начался обыск, настолько тщательный, что она обнаружила, наконец, иголку и английскую булавку в швах халата. Интересно, почему я не могу унести с собой то, что мне принадлежит? Тут я вспомнила, что у моих бот одна застежка испортилась, и стала просить, чтобы мне



оставили английскую булавку. «Не положено». Конечно, на мои просьбы отнести в камеру кое-какие вещи и папиросы тоже последовал ответ «Не положено». Я униженно просила, даже подсюсюкнула, по выражению Маяковского, назвав ее «надзиралочкой», как нежно звали ее заключенные и чего я не терпела. Все напрасно. Не знаю, что подумали обо мне в камере.

С наслаждением натянула на себя привычные вещи: синее шерстяное платье, теплое пальто. А вот шапки не оказалось, дома в суете сборов забыли положить. Попалась крепдешинная косынка салатного цвета. Ну, хоть что-нибудь. В чемодане обнаружила запасные очки – о, счастье!

И вот за моей спиной захлопнулись тюремные ворота. Уже темно, на улице ростовская мокрая зима. У ворот целая толпа народу. Меня окружили, поздравляли, говорили ласковые слова, кто-то целовал, кто-то плакал. Эти люди часами толпились под стенами тюрьмы в надежде, что дождутся своих близких. Спрашивали, из какой я камеры, не знаю ли таких-то. Взволнованная, я заверила, что скоро все будут на свободе.

Наконец, я на трамвайной остановке, как раз напротив тюрьмы. Куда ехать – было договорено с Женей Ворович, которая ушла домой в одну из первых партий. Денег – ни копейки. Ну, как-нибудь, хоть одну остановку проеду. И я со своими узлами (еще раз помянула следователя: «вам не придется таскать») взобралась в подошедший вагон. Народу немного, уселась, вещи в проходе. Подошла кондукторша с билетами. «У меня нет денег»... Кондукторша озадаченно на меня посмотрела. Вид мой был достаточно красноречив: модное пальто с пышным мехом – и летняя косыночка, расстегнутый бот с неисправной застежкой, узел из шерстяного одеяла, а главное – запах, специфический запах тюрьмы. Кондукторша не знала, что сказать, и нерешительно топталась около меня. Сидящий напротив пожилой мужчина в шляпе протянул кондукторше 30 копеек. «Я заплачу». Я поблагодарила и под неотступными взглядами пассажиров доехала до нужной остановки.

Жени дома не оказалось. Были дети-подростки, мальчик и девочка, и старая няня. Мне некуда было деваться, и я попросила разрешения подождать. Все молчали. Видимо, им было ясно, откуда я, и не знали, о чем можно говорить. Наконец, пришла Женя. Мы расцеловались. После ужина улеглись с Женей в спальне, я на раскладушке. Как я мечтала в тюрьме о настоящей постели! Казалось, только лягу – засну крепчайшим сном. Не тут-то было! Как говорится, сна ни в одном глазу. Женя тоже не спала, курила. Испугавшись за детей, Женя признала мужа врагом народа и обещала порвать с ним все связи, надеясь, что ее не будут преследовать. Из партии ее все же исключили. А тут она получила письмо от мужа, которому повезло, и он попал в лагерь без особого режима, где разрешали переписку. Ее положение: она не могла ответить, боясь еще худших последствий для себя и детей. Вместо нее писала и отправляла посылки мать. Но от тюрьмы это ее не спасло. Я представила себе, какое у меня было бы самочувствие, если бы я поступила как она. Она понимала, что поступила неправильно, и терзалась.

Теперь, ночью, она рассказала, что покоя она не имеет. На работе ее восстановили, обещали восстановить в партии, но мысль о муже, которого она предала, постоянно гнетет ее. Что ей делать дальше?

– Перестань трусить. Пиши мужу, и тебе станет легче. Дети большие, поймут и скорее всего будут рады.

На другой день с утра я пошла выполнять поручения товарищей по камере. Прежде всего Раино: узнать, жива ли ее мать, и если все благополучно, привести ее под окна тюрьмы в 3 часа дня. Из нашей последней камеры просматривалась боковая улица и немного угол Садовой.

Старушка была дома и, пока я была у нее, все время плакала. С трудом я втолковала ей, что в третьем часу зайду за ней и мы пойдем к тюрьме, и чтобы она надела свой брусничного цвета шарф – таковы были директивы Раи. Потом я долго искала квартиру Жени Пелль на Буденновском проспекте, но так и не нашла. Направилась в другой конец

города, в семейство Эльзы. Эльза была типичной женой, причем женой в старом понимании. По происхождению швейцарка, она была воспитана, чтобы быть интеллигентной женой, и ничего больше. Маленькая, изящная, выхолонная до прозрачности, она даже в тюрьме, где все немного распоясались, держалась как в гостиной. Говорить она могла только о своем Бобе (ее муж, инженер). Ей удалось уберечь от обысков его небольшую фотографию, все мы ее рассматривали. Детей у нее не было, хотя ей было уже далеко за тридцать. Кроме Боба ее постоянной темой были разные кулинарные тонкости, от которых в камере поднимался вой. Мне нравилась изумительная выдержка этой маленькой женщины. Она таяла, но никогда ни на что не жаловалась, никогда не раздражалась.

Нашла по указанному адресу небольшой деревянный дом с мезонином, стоящий в саду. В таком доме мне всегда хотелось жить. Открыла мне немолодая высокая женщина; со слов Эльзы догадалась, что это сестра Боба. «Я от Эльзы». Меня провели в гостиную, где была еще одна сестра мужа и старая дама – его мать. Меня окружили, приглушенно ахали, всплескивали руками, потом повели обедать. Оказывается, как раз был день рождения Эльзы, и по этому случаю пили портвейн. Мне пришлось обратиться с двумя просьбами: одолжить 5 рублей на дорогу до Азова и дать что-нибудь более подходящее на голову. Притащили несколько шляп, подошел только синий берет из шелковой тесьмы. Не совсем по сезону, но хоть в глаза не бросалось. Расстались мы тепло. Милые люди, но уж очень у них все несовременно. Я внушила им уверенность, что Эльза вот-вот будет дома.

В третьем часу я зашла за Раиной матерью, и мы поехали к тюрьме. На старушке был брусничный шарф. Там мы стали медленно прогуливаться взад и вперед. Немало людей там занималось тем же, и все старались друг другу не мешать. На углу стоял невысокий старик с палкой. Его пышная белая борода делала его похожим на Маркса. Тут меня осенило: Дора, бывало, всегда высматривала из окна камеры своего отца и говорила, что он похож на Карла Маркса. Старик стоял и не отрываясь смотрел на окна третьего этажа, где Доры давно уже не было. Я подошла к нему. «Вы отец Доры?» – «Да», – растерянно ответил старик. Я вкратце рассказала, что знала о Доре, но старалась смягчить историю с голодовкой. Пока он слушал, из глаз его медленно катились слезы. Я постаралась его утешить, сказав, что Дора уже здорова, ее вызывал следователь (такой слух был в камере) и она скоро будет дома. Старик молча кланялся, не в силах, видимо, ничего сказать.

Впоследствии Рая мне написала, что меня с ее матерью она видела в окно, вернее, видела мамин приметный шарф. Она же мне сообщила, что Дора, как и почти все остальные из нашей камеры, вышла на свободу. Последними в камере оставались Лия Фрумкина и Драгилева.

## ГЛАВА 11

Пора было двигаться на вокзал к азовскому поезду. Едва я вышла из квартиры, как столкнулась с Михаилом Давыдовичем Дедерер. Надо было видеть его изумление, а затем восхищение при виде меня. Он всегда был очень расположен ко мне, и Марианна Николаевна немножко ревновала его, совершенно без всяких оснований. Михаил Давыдович сказал, что обо мне был слух, будто меня расстреляли. Меня это не удивило: перепуганные обыватели любят сочинять всякие страхи. Так говорили сначала про Раскина, потом про моего мужа. Михаил Давыдович проводил меня к поезду; не будучи красноречивым, только пыхтел от переживаний, и при прощании попросил разрешения меня поцеловать, что я охотно разрешила.

Больше часа трясусь в пригородном поезде. В вагоне полутемно, пусто. Стараюсь ни о чем не думать. Вот и азовский тупик. В темноте с поезда сошли только двое: я и еще какая-то высокая женская фигура. Когда я проходила под фонарем, эта фигура метнулась ко мне: «Вы? Ирина Николаевна, это вы?» В голосе невероятное изумление и радость. Это

была Розенберг. Интересно получилось: и идя в тюрьму я последней на улице видела Розенберг, и теперь – первая, кто мне встречается на азовской земле, она же. Розенберг подхватила мой узел, и мы с ней двинулись через пустырь, по темным улицам. Дорогой она несколько раз повторяла: «Вы не беспокойтесь о детях, дети у бабушки». В этом я не сомневалась. Она сообщила мне, что няня живет там же, где мы жили до моего ареста. В общем, ей очень хотелось сообщить мне что-нибудь успокоительное.

На мой звонок дверь открыл сосед Барский. Тот же вопль: «Вы? Вы?!» – и он кинулся целовать мне руки.

Открываю дверь своей комнаты: нянька сидит, вяжет чулок. Не сразу узнала, а когда узнала, подняла крик, причитания. Пришлось все же на нее немножко цыкнуть.

И вот тут я поняла, почему Розенберг так настойчиво успокаивала меня насчет детей. Меня обманули: сразу после моего ухода детей увезли в Ростов, в детдом. У меня подкосились ноги, когда я это услышала. Тут же мелькнула мысль: «Хорошо, что я этого не знала в тюрьме. Что бы со мной было!» Детей повезли на грузовике: Светлана на руках у сотрудника в кабине, Галюшка, завернутая в одеяла, на руках у другого в кузове. Девочки, ошарашенные всем происходящим, не плакали. Плакала только нянька, да выбежавшая в последний момент с пакетом сладостей Барская. Пакет она сунула Светлане. Телеграмму моей маме няньке запретили давать, но молодчина Барский взял на себя это и вызвал маму. На вокзале ее встретила одна нянька, и мама сразу поняла, что детей нет. В Азовском НКВД ей сказали, что справки о детях можно получить только в Ростове. Поехали с нянькой в Ростов. В Управлении НКВД нужный человек встретил их неожиданно: «Забирайте скорей ваших детей, нам их некуда девать». Тут же позвонил куда-то и сообщил, что сегодня их отправляют, одну – в Киев, другую – в Новочеркасск. Представляю, в каком состоянии старушки неслись к детскому дому. И вовремя: детей уже выстроили во дворе, чтобы везти на вокзал. Светлана и Галя, наголо остриженные, уже стояли в разных колоннах в парах с другими детьми.

Несколько дней бабушка пробыла с детьми в Азове, отдохнула, даже ходила с ними на Дон купаться и увезла девочек в Ельню. Нянька их сопровождала, конечно. Рассказывая мне, как она уезжала из Ельни и как кричала Галюшка, она заливалась слезами.

Зашел Барский, в пальто и шляпе: «Я иду давать телеграмму Софье Александровне. Как телеграфировать?» Договорились о тексте: «Скоро приеду. Ирина». Удивительно чуткий и смелый человек этот Барский. Я ведь с ним была совсем мало знакома. Он мог спокойно от всего этого устраниваться.

После мама мне рассказывала, как она вечером сидела одна и плакала над полученной телеграммой. Раньше я никогда слез у мамы не видела. Вошедший папа, узнав о телеграмме, был удивлен: о чем же тут плакать?

Рано утром примчалась Харьковцева. Уж и не помню, как она узнала, что я вернулась. Я ей сказала, что я ее поджидала в тюрьме и хотела бы, чтобы она была там рядом со мной. Оказалось, и она стремилась ко мне, здесь она была до ужаса одинока.

Утром же я отправилась в НКВД. Немедленно пропустили к начальнику. Меня он встретил невыразительным: «Итак, вы явились». Он стал доставать из ящиков стола какие-то бумаги, среди них я увидела папку с надписью: «Дело В.Д. Дударева». Я так и впилась глазами в эту папку. Начальник стал зачем-то перелистывать папку и на какой-то странице задержался. Мой напряженный взгляд уловил заголовок: «Выписка из протокола», дальше мелькнула фамилия «Дударев». Боже, это, наверно, приговор! Что-нибудь узнать о судьбе мужа! Спрашивать бесполезно – не скажет. Я устремила взгляд на последние строчки. Нелегко было разобрать написанное чернилами, когда читаешь вверх ногами, но я ухватила две последние строчки: «...к 10 годам тюремного заключения без права переписки с конфискацией имущества и поражением в правах на 5 лет». Я была уверена, что начальник ждал, пока я прочитаю, и, поняв по моему лицу, что я прочитала, перевернул страницу. Получив кое-какие документы, я сразу осведомилась о паспорте.

Начальник позвонил. Вошел уже известный мне следователь. «Паспорт Дударевой у вас?» – «Нет». Начальник его отпустил. «Так, начинается, – подумала я, и заявила: – Я не уйду без паспорта». – «А если его нет?» – «Должен быть». Тут он достал мою записную книжку. «Я ее вам не верну». «Зачем она вам?» – удивилась я. «Пусть останется как свидетельство некоторых ваших колебаний. И здесь он заговорил о том, что я не должна держать в душе обиду, со временем я все пойму, а сейчас он советует примириться со всем, что произошло. Пока он говорил, я думала: зачем он это говорит? Хочет облегчить мое душевное состояние? Человек он явно порядочный, но вот книжечку мою припрятал, что означало, по-моему, «попробуй только восстановиться в партии».

Я его спросила, читал ли он мою последнюю запись. Начальник достал книжку и просмотрел эту запись. Это была выписка из «Очарованной души» Р.Роллана, которая в то время как-то отвечала моим мыслям. Когда Анна потеряла сына, убитого итальянскими фашистами, она искала утешения в мысли, что ничего в жизни не бывает напрасным, все служит каким-то высшим интересам, интересам всего человечества. Что-то приблизительно так. Очень слабое утешение.

«Все равно, я книжку оставляю». – «Пожалуйста». Книжки мне было жаль, но не хотелось, чтобы он подумал, что я боюсь.

Дальше он стал объяснять мои права: я могу требовать восстановления на работе, получить зарплату за два месяца за «вынужденный прогул» и отпуск на две недели. Все это я уже знала. И я опять напомнила о паспорте. Как будто не слышит, перебирает бумаги.

Я повысила голос: «Имейте в виду, я не уйду без паспорта». Иванов усмехнулся и вызвал звонком следователя. «Найдите паспорт Дударевой». И через минуту паспорт был у меня в руках. Я мысленно благословляла тех, кто просветил меня в этом вопросе. Вряд ли я была бы столь настойчива и осталась бы без паспорта.

В конторе фабрики, когда я проходила к директору, сотрудники встретили меня радостными улыбками, но все молчали. Один Шульгин шумно меня приветствовал: «А-а-а, Дударева, не ожидали, не ожидали. Черт знает, что про тебя тут болтали». И тут же спросил: «Будешь восстанавливаться в партии?» – «Подожду». За прошедший год настроение у людей явно изменилось, это я чувствовала на каждом шагу. Без всякой задержки мне выдали причитающуюся компенсацию, предоставили отпуск, все сияли радостными улыбками. Людей радовало, что кто-то все же вернулся в это страшное время. Это вселяло надежды.

Съездила в Ростов вернуть долг и купить что-нибудь на голову. А через два дня я уже двинулась в Ельню, к моим детям, к моим старикам.

## ГЛАВА 12

Я не помню всей дороги, помню только последний перегон Смоленск – Ельня. Почти все время я простояла в тамбуре, открыв настежь дверь. Мороз был трескучий, мелькали заснеженные поля, деревни, а я все смотрела вперед, ожидая Ельню. Сейчас, сейчас я увижу бедную маму! Детей, конечно, на вокзале не будет – слишком большой мороз. И папа, наверное, останется дома с ними. Ворчал, конечно, старик: любит встречать на вокзале, когда кто-нибудь приезжает, но уступил маме, понимая, что у нее больше оснований первой встретить меня.

Вот, наконец, старинный ельнинский вокзал. На перроне почти пусто. Я сразу увидела маму, рядом с ней соседка Низяева. У мамы слезы на глазах, а в руках... моя меховая шапка с ушами. Очень кстати. Мое фетровое сооружение, пригодное для ростовской зимы, совершенно не соответствовало здешнему морозу.

Я с чемоданом спрыгнула еще на ходу, прямо против мамы. Расцеловались с ней, с соседкой, смеясь, напялила на себя шапку. Низяева смотрела на меня во все глаза... «Я вас

ожидала увидеть другой», – с недоумением сказала она. Ну, конечно. Она и на вокзал пошла не столько для того, чтобы помочь маме, сколько с намерением первой увидеть несчастное истрадавшееся существо, только что вырвавшееся из тюрьмы. Но не увидела.

Вот и узкая лестница в мезонин. Наверху папа, по привычке нервно покашливает. Вхожу. Где же дети? Где-то в углу, скрытые обеденным столом, две прижавшиеся к стене фигурки в зеленых пальтишках. Светлана, моя белокурая куколка, несмело улыбнулась и нерешительно пошла ко мне, узнавая и не узнавая. Галюшка не тронулась с места. Я пошла к ней с ласковыми словами, но она отвернулась к стене и оттолкнула меня рукой. Забыла, совсем забыла. Что ж удивительного: в момент моего ареста ей было два года и три месяца.

Немало стоило мне усилий и времени, чтобы наладить с ней контакт. С бабушкой, оказывается, тоже были неважные отношения. Бабушка как-то просмотрела, что все игрушки, собственно, были Светланины (она жила у бабушки и раньше), играли они вместе, но ребенок чувствовал, что тут нет его игрушек... Я немедленно восполнила этот пробел. Она стала доверчивее ко мне, но по-прежнему проявляла дикое упрямство и непослушание, дралась. Я была в отчаянии: откуда эта напасть? Вскоре все объяснилось. Няня из моих писем знала, что происходит с Галюшкой, и, видя, что я не собираюсь возвращаться в Азов, прикатила сама со всеми моими вещами. И все пришло в норму. Галюшке нужна была няня и никто больше. Няня осталась у нас навсегда и прожила еще 30 лет. Умерла в возрасте 92 лет.

Я стала работать в школе. Мы обменяли квартиру на более просторную на первом этаже этого же дома и мирно жили всей семьей до начала войны.

Все годы я непрерывно писала в разные адреса запросы о муже, но безрезультатно. Один раз пришло письмо на имя папы от неизвестного человека из Ростова. Он сообщал, что сидел с Василием в ростовской тюрьме два года, ему удалось выйти на свободу, а муж ожидал отправки в лагерь. Он был здоров, бодр духом и только беспокоился о семье. Вот единственная весточка о муже. [Это была одна из «уток» НКВД, т.к. отец был уже расстрелян. – Д.Г.].

Зимой 1945 года меня вызвали в отдел НКВД и сообщили, что Василий Дмитриевич Дударев умер 4 ноября 1944 года. Умерли все надежды, которых до сих пор я не теряла. После XX съезда партии я стала писать о реабилитации мужа и в 1957 году получила из Военной Коллегии Верховного Суда справку о посмертной реабилитации. А Ельнинский ЗАГС прислал свидетельство о смерти: причина смерти – неизвестна, место смерти – неизвестно.

Ельня, середина 1960-х годов.